

Моя жизнь
ФАИНА
РАНЕВСКАЯ



Annotation

Фаина Георгиевна Раневская, известная своими хлесткими и циничными высказываниями, бесспорно, самая оригинальная актриса из когда-либо существовавших. Редакционным советом английской энциклопедии «Кто есть кто» в 1992 году она включена в десятку самых выдающихся актрис XX века.

Она водила дружбу с Анной Ахматовой, обожала Пушкина, но ни разу так и не вышла замуж и не родила детей... Зато в памяти народа навсегда останутся десятки ее ролей и фраз, которые она сама придумывала и которые стали впоследствии крылатыми фразами, до сих пор не потерявшими своей актуальности.

Книга также выходила под названием «Хроники Фаины Раневской. Все обязательно случится, стоит только расхотеть!».

- **Елизавета Орлова**

- ☐
- ☐ Мое одинокое детство...
- ☐ Профессию я не выбирала – она во мне таилась...
- ☐ Я вас так любила! Любила вас весь вечер!..
- ☐ Мой метод – вживаться в роль полностью!
- ☐ Муля, не нервируй меня!
- ☐ Похожести гримом тут не добьешься...
- ☐ «Ваш фей...»
- ☐ «Похоронные принадлежности»
- ☐ Что я вам – статуя?
- ☐ «Шо грыте?»
- ☐ Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть
- ☐ Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться
- ☐ Всю свою жизнь я проплавала в унитазах стилем баттерфляй
- ☐ Что такое любовь? Забыла. Только помню, это что-то очень приятное...
- ☐ Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества
- ☐ Вы – мой поэт!
- ☐ Осторожно, бабушка!
- ☐ Живу, как Диоген...
- ☐ Я Глеба усыновила, а он меня уматерил!
- ☐ Я столько уродов сыграла! Я хочу хорошего человека играть!
- ☐ Когда Раневской не стало...

- [Афоризмы и цитаты](#)
- [Фото](#)

Елизавета Орлова

Моя жизнь. Фаина Раневская

© ООО «Фанки Инк.», 2014

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

* * *

Мое одинокое детство...

Я родилась в 1896 году в городе Таганроге в довольно состоятельной семье. Можно сказать, что тогда мы жили на широкую ногу. Дом – полная чаша, множество прислуги, дача под городом. Летом дача обычно пустовала – семья нередко проводила это время года в Швейцарии, Франции или Италии.

Я безумно любила свою маму, Милку Рафаиловну Фельдман. Именно от нее я унаследовала чувствительность, артистичность, любовь к музыке, чтению, театру. С отцом же, Гирши Хаймовичем Фельдманом, сложились несколько иные отношения – я не была его любимицей. Из всех четырех детей он выделял Изабеллу, мою старшую сестру. Папа был типичным деловым человеком, которого в первую, вторую и третью очередь интересовали только деньги, а мама – трепетная особа, красавица, преисполненная высоких чувств. Экзальтированная натура, поклонница литературы, музыки и прочих искусств, обожавшая Чехова.

Существует понятие «с молоком матери». У меня – «со слезами матери». Мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная, – она громко плачет. Помню один случай, навсегда врезавшийся в память.

– Мама! Мама! Мамочка! Что случилось? Почему ты плачешь? – крикнула я, едва увидев ее тогда.

Я подбежала к ней, она уронила голову на подушку, и долго-долго плакала, она была в страшном горе. Я испугалась и тоже заплакала. А на коленях матери – газета: «...вчера в Баден-Вейлере скончался А. П. Чехов...». Удивительно, но томик Чехова мама всегда носила с собой. Еще раз мне пришлось увидеть ее в таком же смятении, когда умер Толстой.

– Погибла совесть! Совесть погибла! – рыдала мама.

В этот день кончилось мое детство... Хотя, а было ли оно у меня вообще – детство? Не как отрезок времени в жизни человека, а как прекрасная пора, полная чудесных открытий, родительской любви и беззаботного веселья?

Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве. К одиночеству я начала привыкать с малых лет, правда, так с ним и не смирилась до самой старости. Будучи маленькой девочкой, я, как это нетрудно представить, не любила Новый год, этот чудесный праздник с наряженной елкой и кучей подарков. Причина была проста: на праздники признанную красавицу, старшую сестру Беллу наряжали словно принцессу. В прелестном наряде она казалась еще обольстительнее, чем обычно.

Окружающие восхищались Беллой, порой преувеличенно восторженно, чтобы польстить отцу, не чаявшему души в очаровательной дочери, и совершенно забывали про некрасивую и неуклюжую заику младшую дочь. А мне только оставалось завистливо наблюдать за очередным триумфом сестры со стороны. Мне, как и всякому ребенку, хотелось похвал, внимания, аплодисментов, но всего этого я была лишена и оттого чувствовала себя несчастной, никому не нужной.

Существует теория, утверждающая, что всю свою жизнь человек инстинктивно старается добрать то, что недополучил в детстве. Кто-то покупает себе, любимому, дорогие игрушки, кто-то забивает шкафы нарядами, а кто-то не мыслит и дня без изысканных блюд. Вполне возможно, что главным стимулом моего творческого пути стала жажда внимания, жажда признания, жажда восхищения со стороны окружающих.

Что касается воспитания, то, как и полагалось в те благословенные времена, оно было очень строгим. За любой провинностью следовало наказание, причем нотацией или стоянием в углу дело ограничивалось не всегда. Случались и порки. Так, например, когда я, вместе со старшим братом Яковом однажды сбежала из дома и была поймана по дороге на вокзал городовой, дома нас ожидала порка, а не зажаренный упитанный теленок, которым положено встречать блудных детей.

Творческие наклонности были во мне всегда. Наверное, даже когда я родилась, это было заметно! Еще в раннем детстве я испытывала непреодолимое желание повторять за дворником все, что он говорит и делает. На дворнике останавливаться не стала – изображала всех, кто только попадался на глаза. «Подайте Христа ради», – канючила вслед за нищим; «Сахарная мороженая!» – вопила вслед за мороженщиком; «Иду на Афон, Богу молиться», – показывая приторно благочестивую паломницу, я, будучи четырехлетней девочкой, шамкала «беззубым» ртом и ковыляла с палкой, согнувшись в три погибели.

В пятилетнем возрасте я почувствовала себя настоящей и полноценной актрисой. В тот момент в семье был траур – умер Лазарь, младший братик. Жалея его, я плакала весь день, но все же, улучив момент, отодвинула занавеску на зеркале (обычай требовал занавешивать зеркала, если в доме находится покойник, чтобы душа его не страдала, не находя в них своего отражения) да и взглянула на свое лицо, что говорится, «в слезах».

С самого детства меня непреодолимо влекло к талантливым людям. Признаюсь, я искренне завидовала их таланту. Так, в гости к старшей сестре Белле иногда приходил гимназист, который читал ей наизусть стихи с выражением. Надо отметить,

делал он это мастерски: то вращал глазами, то взвизгивал и, словно тигр, рычал, топал ногами, рвал на себе волосы и заламывал руки. А я... Я трепетала от восторга, а рыдания чтеца в завершение декламации доводили меня практически до творческого экстаза.

Как только наступил «положенный возраст», меня приняли в Мариинскую женскую гимназию, располагавшуюся на Атаманской улице. Учеба не заладилась с первых же дней. Преподаватели объясняли непонятно и были чрезмерно строги, а сверстники то и дело насмехались. Со мной, робкой, застенчивой и вдобавок заикающейся девочкой, никто не хотел дружить. Получилось так, что проучившись в гимназии несколько лет, мне так и не удалось завести ни одной подруги. А вот поиздеваться над безответным созданием хотелось всем. В общем, годы в гимназии – не самые яркие и не самые приятные воспоминания. К тому же, я никак не могла усвоить четыре правила арифметики, учебку ненавидела, оставалась на второй год. Все это было ужас как неинтересно! Задачи, в которых купцы продавали сукно дороже, чем приобретали, были скучны и непонятны. Я решала их со слезами, ровным счетом ничего в них не понимая. Возможно, что врожденное отсутствие интереса к наживе навсегда сделало меня крайне нерасчетливой и патологически непрacticной особой. Может быть...

Как же я умоляла родителей пожалеть своего «бедного ребенка» и забрать из гимназии. Одна из гимназических учительниц, решив подбодрить меня, даже подарила медальон с надписью «Лень – мать всех пороков», который я с гордостью носила. Ценой невероятных страданий я проучилась в младших классах и наконец-то смогла упросить родителей положить конец гимназическому образованию. Обучение продолжилось дома, тогда это было в порядке вещей. Ко мне стали приходить учительницы из покинутой мной гимназии и репетиторы – усатые гимназисты старших классов. Впоследствии я всю свою жизнь училась наукам, увлекавшим меня, но уже самостоятельно. Возможно, я была бы в какой-то мере грамотна, если бы этому не мешала плохая память. Но зато я всегда любила читать и, сколько себя помню, всегда читала запоем. В детстве я нередко плакала навзрыд над книгой, в которой кого-то обижали. Вместо утешения у меня отнимали книгу, и ставили в угол в знак наказания.

А Программа «домашней гимназии» была несложной: девушке из приличной семьи полагалось иметь хорошие манеры, уметь петь, музицировать, сносно объясняться на одном-двух иностранных языках, чтобы слыть образованной особой и стать впоследствии хорошей женой. Гимназическую неприязнь к

педагогам вместе с их педагогикой, до безобразия суровой и все больше и больше походящей на муштру, я перенесла на своих домашних учителей и воспитателей. Как же я ненавидела свою гувернантку, ненавидела бонну-немку. По ночам я нередко молила Бога:

– Господи, вот бы бонна, когда в следующий раз пойдет на каток и будет кататься на коньках, упала и расшибла бы себе голову до смерти!

Но не стоит, конечно, делать поспешных выводов и считать меня монстром на основании того, что я желала смерти бонне. Детям это свойственно – желать смерти кому-то из близких и рыдать, заливаясь слезами, над судьбой малютки Оливера Твиста. Со временем плохое проходит, а хорошее остается, правда, бывает и наоборот. Да и бонны бывают разные – кому-то попадаетется Мэри Поппинс, а кому-то и вовсе фрекен Бок. Эту самую фрекен, впоследствии, я и озвучила в известном мультипликационном фильме!

А росла я необычайно впечатлительной девочкой. Так, однажды в детстве я увидела «цветной» фильм, сцену из «Ромео и Джульетты». В те времена цветных фильмов, в современном понимании этого значения, конечно, не было, скорее всего, это была раскрашенная вручную пленка. Но никто и представить себе не мог восторг двенадцатилетней мечтательницы, наблюдающей за тем, как по приставной лестнице на балкон взбирается юноша неописуемой красоты, а на балконе появляется столь же неописуемо красивая девушка. Молодые люди падают друг другу в объятия, целуются... От восхищения я разрыдалась – столь сильным было это потрясение.

Вернувшись домой, я кинулась к своему богатству – копилке в виде фарфоровой свиньи, набитой мелкими деньгами. Опынев от встречи с искусством, дрожащими руками схватила копилку и без сожаления швырнула ее себе под ноги, на пол! Все деньги, которые оказались в копилке, я отдала соседским детям, после чего всю ночь не могла уснуть. Не от проснувшейся позже жадности, нет – от радости и волнения.

В Таганроге было множество меломанов. Все друзья и знакомые попеременно собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих композиторов. Однажды для выступления в специальный концертный зал пригласили самого Скрябина! И мне довелось при этом присутствовать. В тот вечер у рояля стояла большая лира из цветов, и я углядела, что Скрябин, выйдя к инструменту, улыбнулся цветам. Лицо его было совершенно обычным, можно даже сказать – заурядным, пока он не стал играть. И вот тогда-то я услышала и увидела перед собой гения.

Наверное, именно этот концерт навсегда втянул мою душу в музыку, которая стала страстью на всю жизнь.

Профессию я не выбирала – она во мне таилась...

После просмотра «Ромео и Джульетта», я окончательно потеряла покой. Я заболела театром. В таганрогском театре – небольшом, но удобном – нередко гастролировали не только провинциальные, но и известные, прославленные артисты. Я хорошо помню актера Павла Самойлова, игравшего в спектаклях «Привидения» по Ибсену. Он произвел на меня, тогда юную и романтическую особу, невероятно сильное впечатление. Я и сейчас помню его голос и его глаза:

– Мама, дай мне солнца...

А я, вспоминая его слова, до сих пор не могу сдержать слез...

А опера... Первое впечатление от оперы было страшным. Я то и дело холодела от ужаса, когда кого-нибудь убивали, да вдобавок еще и пели при этом. В театре я громко кричала и требовала, чтобы меня немедленно увезли в такую оперу, в которой не поют. Столь напугавшее меня зрелище называлось «Аскольдовой могилой». Когда же в самом конце убитые выходили раскланиваться, да при этом еще и улыбались, я почувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу. Должно быть, меня оттолкнула некоторая фальшь, присущая этому виду искусства, – ведь в реальной жизни люди куда больше разговаривают, нежели поют. Но, к счастью всех, я просто бредила театром.

В четырнадцать лет я познакомилась с молодой актрисой Художественного театра Алисой Коонен. Дело было в Крыму, в Евпатории. Вне всяких сомнений, это знакомство укрепило меня в страстном желании стать актрисой.

Моим амбициозным планам было тесно в родном Таганроге. Подобно сестрам Прозоровым, героиням чеховских «Трех сестер», я мечтала и стремилась в Москву! Только в отличие от сестер мне посчастливилось туда попасть. В 1913 году, мольбами и уговорами выбив из родителей нужную сумму денег, я отправилась в Москву, где, не теряя времени даром, сразу же отправилась на обход театров в поисках работы. Актёров в Москве – пруд пруди, да к тому же я сильно нервничала и переживала, оттого все больше заикалась и даже чуть что – падала в обморок. А что? Я родилась в конце девятнадцатого века, в ту пору, когда в моде еще были обмороки. Мне, к слову сказать, очень нравилось падать в обморок, к тому же я умудрялась не расшибаться, поскольку старалась падать грациозно и красиво. С годами,

конечно же, да и, слава Богу, это увлечение понемногу прошло.

Но один такой обморок я помню очень хорошо, очень ясно и отчетливо. Он надолго сделал меня счастливой. В тот, совершенно обычный на первый взгляд, день я шла по Столешникову переулку, разглядывая поражающие взор витрины роскошных магазинов, как вдруг рядом с собой я услышала голос человека, в которого была влюблена, можно сказать, до одурения. Я тогда собирала фотографии этого парня, писала ему письма, но никогда их не отправляла, караулила объект своей страсти у ворот его дома, словом – совершала все полагающиеся влюбленной дурочке поступки.

– Добрый день! – сказал мне возлюбленный.

– Добрый... – только и успела сказать я и тут же поспешила упасть в обморок.

От волнения я упала неудачно и довольно сильно расшиблась. Сердобольные прохожие занесли меня в находившуюся поблизости кондитерскую, которая принадлежала тогда супружеской паре – французенке с французом. Добрые супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я тотчас же пришла в себя и... снова немедленно потеряла сознание, на сей раз по-настоящему, так как снова услышала:

– Фаина, ты не сильно ударилась?

Это был тот же любимый голос...

А Москва не была похожа на образ хлебосольного Первопрестольного града, который я рисовала в своих мыслях и мечтах. Это был чужой и негостеприимный город! А деньги продолжали таять и таять – все-таки дороговизна по сравнению с Таганрогом ощущалась. Жилье – дрянь, в театральных дирекциях равнодушные люди только и норовили разве что кривить губы и раздавать бестактные советы:

– Театр не для вас, у вас к нему профессиональная непригодность. Не морочьте голову ни себе, ни другим!

Когда отец узнал о моих «успехах», он выслал мне денег на дорогу и потребовал, чтобы я немедленно возвращалась домой. Я и повиновалась. А что делать? Но папа глубоко ошибался, когда наивно полагал, что дочь, хлебнувшая самостоятельной жизни, перебесится, возьмется за ум и откажется от дурацких идей. Ага! Не тут-то было! Я никогда даже и не думала сдаваться. Я просто отступила, чтобы подготовиться к новому наступлению на столичные театры. Приняла, как говорится, выжидательную позицию. Столичные театры были обречены, но тогда они еще не знали об этом.

Когда я вернулась домой, то сдала экзамены экстерном за курс гимназии и стала посещать занятия в частной театральной

студии Ягелло, где училась всему необходимому для своей будущей профессии: свободно двигаться на сцене, правильно говорить, красиво жестикулировать. У меня не оставалось сомнений – я буду актрисой! Я должна посвятить свою жизнь сцене! В этом смысл жизни, моя цель, мое предназначение! Профессию я не выбирала – она во мне таилась... До тех пор, пока я не заявила семье о том, что по-прежнему хочу стать актрисой. Отец снисходительно взирал на мое увлечение театром. Чем бы дитя ни тешилось... Но стоило мне огласить свое решение, как отцовский гнев обрушился на меня со всей силой:

– Что? О чем ты говоришь? Дочь Гирша Фельдмана – профессиональная актриса? О, разве этот мир перевернулся с ног на голову, чтобы можно было допустить такое?! Дитя одного из самых состоятельных и уважаемых горожан Таганрога станет за деньги кривляться на потеху публике?! Что скажут люди?!

А меня никогда не волновало, что подумают люди. Разве волнует кошку, что о ней думают мыши? Нет, конечно! Стоит только задуматься о том, что скажут люди, как жизнь сразу же начинает катиться к чертям. Опасный это вопрос – лучше никогда его не задавать. Ни себе, ни окружающим.

Очередной долгий разговор с отцом, а если точнее – очередной монолог отца был полон упреков.

– Фая, пойми, я ничего не имею против того, чтобы содержать свою родную дочь, но в благодарность я требую от тебя послушания.

Хм... Послушание? На дворе стоял 1915 год, воздух витал запахом перемен и потрясений, грозы и свободы, а папа все пытался удержать дочь-мечтательницу в рамках патриархально-буржуазных понятий. Занялся бы лучше своими делами, пошатнувшимися из-за мировой войны.

– И вообще, посмотри на себя в зеркало – и увидишь, что ты за актриса! – сказал он в конце беседы.

После разговора с отцом мне впервые захотелось навсегда уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Будучи кипучей и взрывной натурой, я не стала откладывать свое намерение в долгий ящик. Тем более что к тому времени уже успела отзаниматься в частной театральной студии, сыграть несколько ролей в постановках ростовской труппы Собольщикова-Самарина, а также в любительских спектаклях. Что и говорить, я даже справилась со своим заиканием. Я долго и упорно тренировалась, можно сказать, заново выучилась говорить, чуть растягивая слова, и дефект речи безвозвратно исчез. Навсегда.

Отчий дом я вскоре, как и следовало ожидать, покинула. Держа в руках небольшой чемоданчик, я отправилась в Москву,

чтобы поступить в театральную школу. В моем активе была небольшая сумма денег, а также обещание мамы в случае нужды помогать деньгами. Господи, как же мама рыдала, когда я собирала вещи. А я – вместе с ней. Нам обеим было мучительно больно и страшно, но своего решения я изменить не могла. Ко всему прочему, я и тогда была страшно самолюбива и упряма...

И вот моя самостоятельная жизнь началась... Простые люди только могли мечтать о театре, а взбалмошные сыновья и дочери обеспеченных родителей вроде меня стремились зачем-то попасть на сцену – с жиру бесились, как сказал бы наш дворник, а у моего отца был даже собственный дворник, не только пароход...

Я вас так любила! Любила вас весь вечер!..

Зх, сколько же пришлось всего пережить! Сколько нужно было вынести! Сколько вытерпеть неудач! Но, надо сказать, они меня не сломили, так же как и не смогли изменить принятого решения быть на сцене. С большущим трудом я устроилась в частную театральную школу, которую вскоре и оставила, так как не имела достаточных средств, чтобы оплачивать уроки. А не могла я оплачивать не только уроки, но и жилье. Деньги, с которыми я приехала в Москву, просто исчезали на глазах, а единственная работа, которую удалось найти, была крайне непостоянной, да и приносила сущие копейки. Но все равно я была счастлива – ведь я подрабатывала в массовке цирка! Но таким счастьем сыт не будешь. В скорости я осталась без крыши над головой. Благо это было летом! А ведь я была девушкой из добропорядочного провинциального буржуазного семейства, которая привыкла спать на мягких перинах и кружевном постельном белье. Мысль о ночлеге на улице не укладывалась в голове. Вот это я попала! Поистине безвыходная ситуация. А оставаться в Москве без денег, да еще и без работы невозможно, так же как и повторно вернуться неудачницей домой.

А что делать? Из всех возможных вариантов действия я выбрала самый бесперспективный – разрыдалась прямо в самом центре безжалостного города, который, как известно, слезам совершенно не верит. Правда, даже выбранное место для рыданий было изысканным – около колонн Большого театра. А где же еще оплакивать несостоявшуюся актерскую судьбу и прощаться на веки вечные со сценой? С чувством стиля у меня никогда не было проблем! Но, слава Богу, бесперспективный вариант на деле оказался судьбоносным. На меня рыдающую обратила внимание проходившая мимо Екатерина Гельцер, прима-балерины Большого театра.

Так я оказалась дома у Екатерины Васильевны. Мы практически сразу же сдружились и дружили около сорока лет, вплоть до самой смерти Екатерины Гельцер.

– Фанни, вы меня психологически интересуете! – иногда в беседе со мной признавалась Гельцер.

Она была необычайно искренним человеком. Она всегда так восторженно восхищалась моей молодостью и самоотверженностью:

– Какая вы феноменально молодая, как вам феноменально

везет!

А как она радовалась моим первым успехам! Однажды Екатерина Васильевна сказала мне:

– Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга!

Екатерина Гельцер была очень умной и острой на язык, она имела привычку называть вещи своими именами. Так, например, когда она рассказывала о московской театральной закулисной жизни, она называла актерское общество «бандой», имея в виду царившие тогда нравы в этой сфере. А я ее всегда с удовольствием слушала. Я ее обожала.

Екатерина Васильевна страдала бессонницей. Иногда она могла позвонить мне в два, а то и в три часа ночи с каким-нибудь вопросом. Я почему-то всегда пугалась этих ночных звонков. Надо сказать, что вопросы у Гельцер всегда были самые неожиданные. Она могла спросить:

– Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?

Или еще:

– Объясните мне, пожалуйста, что такое формализм.

И это – посреди ночи!.. «Какой глубокий человек!» – думала я.

Каждый свободный вечер я проводила в театре. Экономя деньги, заглядывала в окошечко администратора и печальным голосом произносила:

– Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре...

На первый раз моя хитрость удавалась всегда – администратор протягивал заветную контрамарку. Но, при попытке получить контрамарку вторично администратор одного из театров отказал мне:

– Извините, но я вас помню! Вы со своим лицом запоминаетесь.

Но первым моим учителем я всегда считала Художественный театр, где, бывало, по несколько раз смотрела все спектакли, шедшие в тот сезон. Особенно я запомнила Константина Сергеевича Станиславского в роли генерала Крутицкого из «На всякого мудреца довольно простоты». Когда же я впервые попала в Художественный театр на «Вишневый сад», то словно попала в прострацию. Моему восторгу не было предела! Чего стоил один только актерский состав: Станиславский в роли Гаева, Николай Осипович Массалитинов в роли Лопахина, Ольга Книппер-Чехова играла Раневскую...

Как-то раз я прогуливалась по Леонтьевскому переулку и увидела пролетку, в которой сидел Станиславский. От

неожиданности растерялась, а потом побежала за ним, крича:

– Мальчик мой дорогой!

А он смотрел на странную и экзальтированную девушку добрыми глазами и смеялся. Эту случайную встречу я запомнила на всю свою жизнь... Я боготворила Станиславского, преклонялась перед ним, обожала его.

Этот период в моей жизни был вовсе не безоблачным. Безоблачных «полос» в моей жизни не было вовсе. Я с трудом сводила концы с концами, тем более что рачительностью и умением экономить я никогда не отличалась, но мелкие житейские проблемы не могли затмить всего остального. И только Екатерине Гельцер было по силам вдохнуть в меня новые силы, возродить угасшую было надежду на сценическое будущее. Она начала искать для меня место. Гельцер показала мне всю Москву тех лет. Это были «мои университеты».

Как-то раз Екатерина Васильевна сказала мне, что, как кажется, она нашла для меня хорошую работу. Хорошая работа находилась довольно далеко от Москвы, в дачном поселке Малаховка, где землевладелец и по совместительству – завязанный театрал Павел Алексеевич Соколов несколько лет назад восстановил сгоревший Летний театр, куда в сезон съезжались из обеих столиц лучшие актеры. Новый театр был построен по эскизу самого Шаляпина, который поспорил с Соколовым, что тот не успеет выстроить здание к летнему театральному сезону 1911 года, и проиграл. Чудесный деревянный театр с залом, рассчитанным на пятьсот зрителей и великолепной акустикой, был построен плотниками за пятьдесят два дня!

Только в Малаховке можно было случайно оказаться на одной садовой скамейке с самыми маститыми и признанными артистами. Вспоминая об этих чудесных днях и своей трогательной непосредственности, очень сложно сдерживать улыбку. В один летний солнечный день я уселась на садовую скамейку около театра, возле дремавшей на свежем воздухе старушки. Вдруг кто-то, здороваясь с женщиной, сидящей со мной по-соседству, сказал:

– Здравствуйте, наша дорогая Ольга Осиповна!

Только тогда я поняла, рядом с кем мне посчастливилось сидеть. Рядом с самой Садовской! Я тут же вскочила, словно ошпаренная, и запрыгала на месте от восторга.

– Что это с вами? Почему вы прыгаете? – обратилась ко мне удивленная Садовская.

Заикаясь, что к тому времени случалось лишь при сильном волнении, я ответила:

– Я прыгаю от счастья и оттого, что сидела на одной скамейке

рядом с великой Садовской! Я обязательно похвастаюсь перед подругами! Вот они обрадуются и удивятся!

– Успеете еще, сидите смирно и больше не прыгайте! – засмеялась актриса.

– Я, наверное, находясь рядом с вами, уже не смогу сидеть. Могу ли я с вами просто постоять!

– Смешная какая вы, барышня. Расскажите, чем вы занимаетесь? – заинтересовалась Ольга Осиповна и, взяв меня за руку, усадила рядом с собой.

– Ольга Осиповна, прошу вас, дайте мне опомниться от того, что сижу рядом с вами! – взмолилась я.

Потом я рассказала Садовской, что хочу быть актрисой, и, что сейчас в этом театре служу на выходах. Ольга Осиповна все смеялась, а потом спросила, где я училась. А я созналась, что в театральную школу меня не приняли, потому что сочли некрасивой и лишенной таланта.

Как же потом я гордилась собой, что насмешила до слез саму Ольгу Осиповну Садовскую. Надо сказать, что я многому у нее научилась, но главным учителем «малаховской поры» стал для меня Илларион Николаевич Певцов. Поистине, мой первый учитель.

Илларион Николаевич очень любил молодежь. После спектакля он нередко звал молодых актеров и актрис с собой гулять. Он учил их любить природу, внушал, что настоящий артист обязан быть образованным человеком, должен хорошо разбираться в литературе, живописи, музыке.

– Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь! – говаривал он.

А я буквально восприняла его слова. И, в общем-то, так и поступала.

Певцов пытался убить в молодежи все обывательское, мещанское. Он часто повторял им:

– Друзья мои, прошу вас – не обзаводитесь вещами, не давайте им лишить вас свободы, бегайте от вещей!

Илларион Николаевич вообще был очень искренним, открытым, бескорыстным человеком. Всей душой ненавидел он стяжательство, жадность, пошлость. Как же он был прав! Я целиком и полностью следовала его советам! Его слова вспоминала при каждом удобном случае. Для меня он не просто Певцов, а милый, дорогой, любимый Илларион Николаевич Певцов. Я любила и люблю его! И тут же на ум приходят чеховские слова: «Какое наслаждение – уважать людей».

Играл Певцов бесподобно – всякий раз, выходя на сцену, он

проживал жизнь своих героев от начала до конца, он не представлял зрительному залу персонаж, он становился этим персонажем! В пьесе «Вера Мирцева» героиня застрелила изменившего ей любимого человека, а подозрение в убийстве пало на друга убитого, которого играл Певцов. На всю жизнь я запомнила его лицо. Оно было залито слезами, а его дрожащий, срывающийся голос, которым он умолял снять с него подозрение в убийстве, потому что убитый был ему добрым и единственным другом. Каков же был этот голос! Даже по прошествии многих лет, вспоминая об этом одаренном актере, я очень волнуюсь. Ведь Певцов не играл на сцене, он вообще не умел играть, он жил, он был своим героем, он сам терзался муками утраты дорогого ему человека...

Мне посчастливилось видеть Иллариона Николаевича и в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Эта роль Певцова также запомнилась мне на всю жизнь. Когда я узнала о своем участии в этом его спектакле, то я, сильно волнуясь и крайне робея, подошла к Иллариону Николаевичу и сказала:

– Илларион Николаевич, посоветуйте, пожалуйста, что мне следует делать на сцене, если у меня нет ни одного слова в роли.

– А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать! – не раздумывая, ответил Певцов.

Я, разумеется, послушалась – любила его так крепко, как он попросил.

А когда спектакль окончился, я все продолжала громко плакать, мучаясь судьбой его героя, и никакие утешения подруг не могли меня утешить. Тогда кто-то из подруг побежал к Певцову за советом. Добрый Илларион Николаевич пришел ко мне в гримерную спросил:

– Что с тобой, Фаина?

– Я так вас любила, Илларион Николаевич, так крепко любила вас весь вечер! – всхлипывала я в ответ.

– Милые барышни, – сказал Певцов, обращаясь к девушкам из той же гримерной, собравшимся вокруг меня, – вспомните меня потом: она будет настоящей актрисой!

Мудрый актер, он не ошибся. Но тогда я еще была Фанни Фельдман, которой только предстояло стать Фаиной Раневской.

Почему именно Раневской? Да потому что я вечно все роняла. У меня все валилось из рук. Так было всегда! Вот, например, однажды я гуляла со своим спутником. На улице был жуткий ветер. Настолько жуткий, что находившиеся в моих руках деньги, улетели прочь!

– Как красиво они летят! – сказала я тогда, упустив практически последние на тот момент купюры.

– Ты сейчас похожа на героиню чеховской пьесы Раневскую – также смеешься над деньгами! – ответил он.

Мой метод – вживаться в роль полностью!

В 1934 году имя Михаила Ромма не имело широкой известности. На тот момент еще не успели выйти на экраны страны его знаменитые фильмы о Ленине – «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Правды в этих фильмах, конечно, было не больше, чем льда в пустыне Сахара, но зато это были идеологически верные картины, созвучные духу эпохи, заслужившие одобрение самого Иосифа Сталина. Ромму удалось воплотить на экране канонизированный образ вождя – политического стратега, всезнающего учителя жизни, подкупающего своей человечностью. За эти «шедевры» Ромм был удостоен Сталинской премии. Своей первой Сталинской премии, всего их у него было пять!

Именно Михаил Ромм открыл для меня кино. Ходили слухи, что как-то раз ему довелось побывать на репетиции в Камерном театре, где он меня и увидел. По его словам, я «привлекла своей оригинальностью, непохожестью на остальных». А Ромм как раз собирался снимать фильм по новелле Ги де Мопассана «Пышка». Это был его первый фильм и потому он очень тщательно приглядывался к актерам. В скором времени я получила приглашение на роль госпожи Луазо. Это было, можно сказать, предложение, от которого невозможно было отказаться, и через несколько дней на «Мосфильме» начались съемки.

Огромное здание кинофабрики на Потылихе еще строилось, но во многих его павильонах уже снимались фильмы. Актеры мерзли, так как отопление еще не работало, страдали от вечного шума и суеты, но работали с полной самоотдачей.

Страдала и я. Но еще хуже стало, когда мне для съемок сшили платье из той же плотной и тяжелой материи, которой был обит дилижанс. Я чувствовала себя в нем, как рыцарь, закованный в латы. По-другому и не скажешь!

Почти все съемки проходили ночью, так как, по мнению тогдашнего начальства Москинокомбината, для немой ленты начинающего режиссера Ромма дневные смены были слишком хороши. С тех пор у меня и появилась бессонница.

По сценарию, действие в «Пышке» происходит во время франко-прусской войны. Руанская девица легкого поведения Элизабет Руссе, из-за полноты прозванная Пышкой, ненавидящая пруссаков, уезжает из Руана в Гавр на дилижансе вместе с попутчиками – оптовыми виноторговцами супругами Луазо,

фабрикантом Карре-Ламаденом и графом Юбером де Бревилем с супругой, демократом Корнюде и двумя монахинями. Хорошая девушка делится с попутчиками своими припасами.

На ночь путешественники останавливаются в гостинице, где во время ужина Пышки безуспешно домогается прусский офицер. Наутро в дилижанс по приказу офицера не запрягают коней, и вся компания застревает в гостинице. В первый день все выражают негодование по поводу гнусных требований прусского офицера, но уже на второй день начинают уговаривать Пышку уступить ему. Больше всех старается мадам Луазо. На третий день Пышка отдается офицеру, после чего дилижанс отправляется дальше, причем попутчики демонстративно бойкотируют Пышку, выражая ей свое презрение.

Фильм «Пышка» был немым, поэтому характер своей героини мне приходилось раскрывать посредством мимики и пластики. Несмотря на то, что картина снималась без звука, я, выучившая французский еще в детстве, перечла рассказ Мопассана в подлиннике и выучила наизусть несколько фраз госпожи Луазо, чтобы почувствовать себя настоящей француженкой. Таков был мой метод – вживаться в роль полностью.

Однажды в Советский Союз приехал Ромен Роллан, Горький на своей даче показал ему фильм «Пышка». Просматривая тот эпизод, в котором госпожа Луазо отчитывает Пышку, Роллан даже подскочил на стуле от восторга, пораженный моей артикуляцией. Дело в том, что он по губам понял, что я проговаривала свою роль по-французски. Немой кинематограф заговорил без звука... Роллан расхвалил «Пышку» во Франции, картина была закуплена французами для показа и прошла там с большим успехом. Тогда Ромм признался мне:

– Вы – моя добрая звезда! Вы принесли мне удачу!

Еще одним достоянием всей этой истории стал тот факт, что когда на съемках «Пышки» я впервые увидела Галину Сергееву, исполнительницу главной роли – актрису театра-студии Рубена Симонова, которая была в платье с глубоким декольте, я не выдержала и восхищенно вздохнула:

– Эх, не имей сто рублей, а имей двух грудей!

Поговаривали, что, когда в январе 1935 года к пятнадцатилетию советского кино составлялся «наградной» список работников кинематографа, председатель ЦИК СССР Амель Енукидзе лично включил в список Сергееву, объяснив свой поступок так: «У этой артистки очень выразительные большие... глаза». И указал... на то же знаменитое декольте. Галина Сергеева стала заслуженной артисткой республики в двадцать лет.

По окончании съемок в «Пышке» я и Нина Сухоцкая, которая

сыграла в «Пышке» монахиню, поклялись на Воробьевых горах, что мы больше никогда не будем сниматься в кино! Какие же утомительные были эти тяжелые съемки!

Но я не сдержала эту клятву. И все равно снималась в кино. Новые роли, новые режиссеры. С Михаилом Роммом же я снова встретилась, но уже на съемках фильма «Мечта». Пожалуй, это одна из моих любимейших картин.

Действие фильма происходило в одном из маленьких городов Западной Украины за десять лет до «присоединения» ее к Советскому Союзу. В фильме рассказывалось о судьбе простой неграмотной девушки Ганки, прибывшей в город из деревни в поисках лучшей доли. Ганка мечтала скопить денег, чтобы купить отцу корову и выйти замуж. Она устраивается работать в пансион под названием «Мечта», которым владеет Роза Скороход. В конце фильма же из забитой девчонки Ганка превращается в нового человека. Она уходит пешком, по шпалам из панской Польши, чтобы вернуться вместе с... Советской армией. Мечта, что называется, сбылась.

В фильме играли прекрасные актеры. Ромм был счастлив работать с тем актерским составом. Он говорил: «Снимать фильмы с такими актерами – наслаждение. Люди разных судеб, разных школ, они сумели объединиться в поразительно талантливый общий рисунок, подчиняя все генеральному замыслу».

А мне пришлось воплотить на экране сложный, неоднозначный и трагический образ мадам Розы Скороход. С одной стороны моя героиня была отвратительной, наглой и циничной мещанкой, одержимой жадой стяжательства. Но с другой стороны, она была несчастной матерью, искренне любящей своего непутевого сына и желающей ему счастья. Это старая мать, потрясенная эгоизмом и черствостью своих детей...

Роза, была властной хозяйкой меблированных комнат. А мне в то время было еще менее сорока лет, и фигура моя была довольно стройной и гибкой. Это и мешало: свою Розу я видела более массивной, и мне хотелось, так сказать, «утяжелить» роль. И наконец, мне в голову пришла мысль – «слоновьи ноги» и тяжелая поступь, для чего каждый раз перед съемкой я обматывала ноги от ступней до колен какими-то бинтами, а талию – полотенцами, чтобы достоверней сыграть массивную, отяжелевшую от горя и времени Розу Скороход. Ощущение точной внешности играемой роли всегда питало меня.

«Мечта» вышла на экраны в 1941 году, и с тех пор я жила в поисках роли, что говорится, себе по плечу, роли, которая смогла бы до дна утолить мою неумную творческую жажду!

Задуманный кремлевскими идеологами как пропагандистская агитка, фильм получился хорошим. Правда, с датой выхода на экраны ему пришлось повременить. Съёмки «Мечты» были завершены 22 июня 1941 года. Ромм закончил перезапись в восемь часов утра. Был ясный солнечный день. Мы поздравили друг друга с окончанием работы, а через три часа все узнали о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

Лишь после того, как в 1943 году «Мечта» увидела свет, и зрители смогли услышать пронзительный вопрос Розы Скороход, обращенный к сыну: «Объясни мне ты, инженер, зачем пропала моя жизнь?».

«Мечта» принесла мне известность мирового уровня. Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт, посмотрев картину, сказал: «На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская – блестящая трагическая актриса».

«Мечта» понравилась и американскому писателю Теодору Драйзеру, смотревшему фильм вместе со своим президентом. Вот что писала об этом его жена Элен Драйзер: «Теодор был очень болен. Ему не хотелось писать, не хотелось читать, не хотелось ни с кем разговаривать. И однажды днем нам была прислана машина с приглашением приехать в Белый дом. Советский посол устроил специальный просмотр фильма «Мечта». В одном из рядов я увидела улыбающегося Чаплина, Мэри Пикфорд, Михаила Чехова, Рокуэлла Кента, Поля Робсона. Кончилась картина. Я не узнала своего мужа. Он снова стал жизнерадостным, разговорчивым, деятельным. Вечером дома он мне сказал: «Мечта» и знакомство с Розой Скороход – для меня величайший праздник».

С Михаилом Роммом мы дружили всю жизнь. За всю свою долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору моих встреч с Михаилом Ильичом. Такого нежного отношения к актеру, такого доброжелательного режиссера-педагога я более не знала и не встречала. Михаил Ромм был всегда деловит и собран, а его советы и подсказки всегда были точны и необходимы.

Когда Михаила Ильича не стало в 1971 году, я ощутила величайшую потерю. Как же я по нему скучала! Он иногда говорил, что фильмы свои его не радуют, но когда смотрел «Мечту» – плакал. В этом фильме он очень помогал мне как режиссер, как педагог. Доброжелательный, чуткий с актерами, он был очень любим всеми, кто с ним работал... Не так давно видела в телевизоре немую «Пышку». Как же был талантлив Михаил Ромм, если в немой «Пышке» послышался мне голос Мопассана,

гневный голос его о людской подлости!

Так сложилось, что у меня была всего одна главная драматическая кинороль – в «Мечте».

После начала войны я была эвакуирована в Ташкент, где пробыла до 1943 года. В 1943 году, вернувшись в Москву, я была принята в Театр драмы (ныне – театр имени Владимира Маяковского). Также я снялась в нескольких рядовых фильмах, после чего была приглашена на роль Мамаши в фильме «Свадьба».

Но все-таки с кино у меня отношения, увы, не сложились. И виной тому, как ни парадоксально, мой талант. Режиссеры боялись, что моя игра отвлечет внимание зрителя от основной идеи фильма. Когда на одной из кинопроб режиссер мне прямо сказал об этом, я предложила:

– Если это надо для дела, я могу играть хуже!

Я никогда не боялась говорить то, что думаю и не лезла за словом в карман. Когда в самом начале моей артистической карьеры Сергей Эйзенштейн отказался снять меня в «Иване Грозном», я где-то в компании сказала:

– Да я лучше кожу с задницы буду продавать, чем соглашусь сниматься у Эйзенштейна!

Видимо, ему передали эти слова, и в скором времени, я получила от него телеграмму со словами:

– Как идет торговля?

Иногда режиссеры начинали предлагать несколько изменить рисунок роли, а я обижалась и уходила в свою гримерку и говорила костюмерше:

– Я, наверное, уволюсь. Режиссер считает меня дерьмовой актрисой...

Муля, не нервируй меня!

После Пышки, несмотря на успех, я решила больше в кино не появляться – слишком это все мучительно. Тем не менее, спустя три года я приняла предложение режиссера Игоря Савченко сняться в роли попадьи в фильме «Дума про казака Голоту». К этому времени я как раз осталась без работы в театре, и кино захватило меня. В 1939 году я снялась сразу в трех кинокартинах. В фильме «Человек в футляре» режиссера Анненского я сыграла роль жены инспектора, в картине «Ошибка инженера Кочина» режиссера Мачерета – роль жены портного Гуревича – Иды. Но настоящую известность принесла комедия Татьяны Лукашевич «Подкидыш».

Отныне и навеки меня встречали и провожали другой фразой: «Муля, не нервируй меня!». Называется – придумала на свою голову. Я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность!

«Подкидыш» снимался все на том же «Мосфильме» режиссером Татьяной Лукашевич по сценарию, написанному знаменитой актрисой театра и кино Риной Зеленой и писательницей Агнией Барто. Однажды в разговоре с Агнией Львовной я так и сказала ей:

– Я вас ненавижу. Куда бы я ни пришла, все оглядываются и говорят: «Смотри, это Муля, не нервируй меня, идет»!

Это был первый советский семейный фильм. Фильм, в котором не надо было давать стране угля, строить гидроэлектростанцию, разоблачать вражеских агентов и ставить рекорды на бескрайних полях Родины.

Пятилетнюю Наташу мама неосмотрительно оставила на старшего брата, но тот, занятый своими пионерскими делами, не заметил, что девочка ушла из квартиры. Коммуникабельная дружелюбная девочка познакомилась с детсадовскими детьми и пришла вместе с ними в детский сад, но, пока заведующая звонила в милицию, снова ушла гулять. Затем она случайно оказалась рядом с квартирой холостого геолога и пожилой дамы – зубного врача. Геолог пожелал ее удочерить, но пока он спорил с соседкой по поводу методов воспитания девочки, та снова незаметно ушла. Такой вот Колобок на новый лад: я от бабушки, то есть от брата, ушла, а от вас и подавно уйду. В конце концов, Наташа встретила с комичной семейной парой – Лялей и Мулей. Ляля, женщина властная, но не слишком умная, тут же решила удочерить девочку. Подкаблучника Мулю она спрашивать даже и не собиралась. Все, разумеется, закончилось хорошо.

Наташу вернули маме целой и невредимой, и всем было весело.

Когда я впервые прочитала сценарий, я спросила:

– Скажите правду, сценаристы роль Ляли писали под меня?

Фильм получился великолепный, вне времен, вне поколений. Фразы из «Подкидыша» стали крылатыми: «Муля, не нервируй меня!», «Дудеть надо, дудеть!», «Товарищ милиционер, что же это такое – на совершенно живых людей наезжают!», «Девочка, Наташенька, скажи, что ты больше хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?», «Это у вас подводная лошадь? – таких не бывает! – Нет, бывает: вот подвода, а вот лошадь...».

Дети повсюду бегали за мной, крича:

– Здравствуй, Муля! Муля, не нервируй меня!

Несмотря на то, что меня это жутко злило, это ничего не меняло.

Случалось, что во время съемок «Подкидыша» нам приходилось сниматься на шумной улице Горького, тут же репетировать и записывать фонограмму. Толпа нас окружала постоянно, несмотря на все усилия милиции. У меня лично было такое чувство, что я моюсь в бане, и туда пришла экскурсия сотрудников из Института гигиены труда и профзаболеваний.

А еще на съемках фильма «Подкидыш» мне пришла в голову интересная мысль о сходстве актерской и учительской профессий. В работе над этим фильмом я убедилась, что актеру в какой-то степени всегда необходимо обладать даром педагога. Вы помните сюжет? Муж и жена нашли девочку и стали ее воспитывать. Я играла роль жены, и маленькую Веронику Лебедеву, исполнявшую роль нашей юной героини, мне пришлось воспитывать в самом буквальном смысле слова. Сейчас я вспоминаю это с удовольствием. С детьми работать всегда трудно. В кино, наверное, особенно. Там своя специфика, свои подчас изнурительные условия. Актер должен всегда чувствовать партнера независимо от того, ребенок это или нет. Должен понять мир ребенка. Потому и родственны наши профессии – актера и школьного учителя.

Фраза же «Муля, не нервируй меня!» продолжала меня преследовать и годы спустя. Я даже пожаловалась однажды своей подруге Анне Ахматовой, сжав в руки кулаки:

– Это же мои мули!

А когда Леонид Ильич Брежнев вручал мне орден Ленина, то и он не смог удержаться – скорчил рожу и пропищал:

– Муля, не нервируй меня!

Я презрительно пожала плечами и сказала:

– Леонид Ильич, ко мне так обращаются только невоспитанные уличные мальчишки!

Брежнев страшно смутился и тихо ответил:
– Извините, просто я вас очень люблю.
На этом инцидент и был исчерпан.

Похожести гримом тут не добьешься...

1943 год для воюющей страны стал годом перелома. До мая 1945 года оставалось два долгих года, но превосходству немецкой армии под Сталинградом уже был положен конец. А в Москву поспешили вернуться из эвакуации толпы актеров, истосковавшихся по настоящей работе. Они были голодны, плохо одеты, но полны энтузиазма.

Режиссеру Исидору Анненскому для своего нового фильма «Свадьба», снятого по мотивам чеховских произведений, удалось собрать блистательную труппу, в которую, помимо меня, вошли Алексей Грибов, Зоя Федорова, Эраст Гарин, Николай Коновалов, Михаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая, Осип Абдулов, Николай Плотников, Сергей Блинников, Владимир Владиславский, Лев Свердлин, Михаил Пуговкин... В роли сварливой жены доктора в «Свадьбе» дебютировала Татьяна Пельтцер.

Эта история, представляя собой неиссякаемый кладезь русского остроумия, беспристрастно описывала человеческие пороки и заблуждения. Пошлейшее представление свадебных разборок в семье мещан Жигаловых, пытающихся, во что бы то ни стало, заполучить в женихи капризного чиновника Апломбова, превратилась в подлинную энциклопедию национальных характеров.

Работая над этим образом, я пользовалась наблюдениями из реальной жизни. Похожести гримом тут не добьешься. Я ведь натягивала платье, подтягивала кверху нос, надевала парик и шляпку и выходила на съемочную площадку, почти не гримируясь. Все дело тут в манере говорить, слушать, думать. Ходить и жестикулировать – это уже потом!

Я иногда позволяла себе критиковать Анненского за слишком вольное обращение с первоисточниками – творениями Чехова, но в фильме сниматься согласилась. Мне досталась роль матери невесты. Этот образ был мне знаком еще со времен детства, еще с Таганрога. Читая «Свадьбу», я ни разу не улыбнулась. «Свадьба» – это личная трагедия Чехова, так как он страдал, когда встречался с пошлостью и мещанством.

Снимали «Свадьбу» в голодной военной Москве, и, конечно, на мое счастье – я страдала бессоницей, снимали только по ночам, потому что днем в студии работали документалисты. Гримировались актеры под зонтиком, потому что с потолка вечно

капало. В павильоне у Анненского царил бардак, или, выражаясь культурно – хаос, где каждый творил то, что взбрело ему в голову.

Актеры у доброго режиссера то и дело пороли отсебятину. К «отсебятине» я всегда относилась неоднозначно. «Дописать», или того хуже – «переписать начисто» какого-нибудь там Билль-Белоцерковского или, к примеру, Евгения Шварца – это дело обычное. Я делала это часто, умело и с удовольствием. Свою первую фразу «под Чехова» в фильме «Человек в футляре», придуманную, чтобы «озвучить» бессловесную жену инспектора гимназии, я произнесла лишь с благословения вдовы писателя, Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой.

Костюмерной у актеров не было, машин нам также не давали. Как-то раз в пять часов утра я вместе с актрисой Верой Марецкой, которая играла в «Свадьбе» акушерку Змеюкину, шли по пустым московским улицам в длиннополых платьях. Мы выглядели как две сумасшедшие, сбежавшие из прошлого века.

Снимали картину в лихорадочной спешке, так как ее надо было сдать к сорокалетию со дня смерти Чехова. У нас же и из годовщины смерти могут сделать праздник!

Несмотря на все сложности, фильм получился веселым, искрометным, немного озорным. Как раз таким, какой был нужен зрителям, желавшим хотя бы на полтора часа оторваться от суровой военной действительности. Страна с удовольствием повторяла вслед за полюбившимися ей героями:

– А тигры в Греции есть?

– Есть, в Греции все есть.

– Махайте на меня, махайте!

– Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.

– Не тыкай вилкой в омары – это для генерала поставлено.

– Больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд.

В роли грека-кондитера Харлампия Спиридоновича Дымбы с его неизменным «Есть, в Греции все есть» снялся блестящий актер Осип Абдулов, любимец зрителей и главный пират отечественного кинематографа, сыгравший Джона Сильвера в фильме «Остров сокровищ».

Отношение Осипа Наумовича Абдулова к кинематографу было двойственным. Он страстно любил кино как зритель, но никогда не был доволен собственной игрой. Он говорил: «В театре мне приходилось играть разные роли, в том числе и хороших, обаятельных людей. В кино же меня приглашали главным образом на роли вредителей, злодеев, пиратов. Я всегда

старался их очеловечить, избегать сплошной черной краски».

Я его нежно любила. Всегда я по нему тосковала и скучала. За многие годы жизни в театре ни к кому из актеров не была так привязана. Это был актер редкостного дарования и необыкновенной заразительности. Играть с ним было для меня наслаждением... Осип Наумович уговорил меня выступить с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова «Драма». Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом. Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров. Когда не стало Осипа Наумовича, я через некоторое время начала играть с другими партнерами, но вскоре прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было. И все роли, в которых прежде играл Осип Наумович, в исполнении других актеров проходили незамеченными. Зрители знали и любили Осипа Наумовича Абдулова по театру, кино, эстраде. Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло меня. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. За долгую мою жизнь я не помню никого, кто так мог без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга. Как актер он обладал громадным чувством национального характера. Когда он играл серба – был подлинным сербом («Министерша»), играл англичанина – был подлинным англичанином («Ученик дьявола»), играл француза – был подлинным французом («Школа неплательщиков»), играл грека – был подлинным греком («Свадьба» Чехова). Вспоминаю его великолепное исполнение роли Лыняева в спектакле «Волки и овцы», Сорина в чеховской «Чайке»... Эта работа особенно взволновала меня. Какая глубокая печаль уходящего, никому не нужного старика была показана им в этой роли! С какой мягкостью и вдохновением он ее играл!

Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадя себя. Он объяснял мне свою кипучую деятельность потребностью постоянного общения со зрителем. Он на все мои нападки неизменно отвечал: «В этом смысл моей жизни». Однажды после окончания ночной съемки в фильме «Свадьба» Чехова, где он чудесно играл Грека, нам объявили, что машины не будет, и что нам придется добираться пешком домой. Осип Наумович сердился, протестовал, долго объяснялся с администратором, но, сразу же успокоившись, решил отправиться домой, как был – в гриме: с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске. По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего грека на языке, тут же им придуманном, свирепо вращал глазами и отчаянно

жестикулировал, невероятно пугая идущих на рынок домашних хозяек. Это была не только озорная шутка, это было творчество, неумный темперамент, щедрость истинного таланта. Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно отправлялись домой!

В гастрольных поездках, возвращаясь со спектакля, мы обычно ужинали у меня в номере. После ухода Осипа Наумовича, одна, вспоминая его рассказы, я долго хохотала, как филин в ночи, приводя в недоумение дежурную горничную. Осип Наумович шутил, уверяя меня, что наши ночные беседы его «скомпрометировали» и будто он даже слышал, как дежурная горничная сокрушалась, что у него старая жена!..

Отказывать он не умел, был уступчив, без тени зазнайства. Куда бы нас ни звали выступать в сборных концертах, охотно давал согласие, а потом с виноватым видом говорил: «Дорогая, еще два шефских концерта, только два», – и мы мчались куда-то очень далеко. Я сердилась, жаловалась на усталость, он утешал меня тем, что это «полезная» усталость.

«Ваш фей...»

Были у меня весьма интересные роли в кино и в послевоенное время. В 1946 году режиссер Илья Фрэнз пригласил меня на роль бабушки в своем дебютном фильме «Слон и веревочка», снятом на студии «Союздетфильм» по сценарию Агнии Барто.

...Я дважды снималась не с девочкой, а с живым чудом – с Наташей Защипиной. Эти картины известны – «Слон и веревочка» и «У них есть Родина». Я сначала боялась за Наташу, все актеры боятся играть с детьми: они ведь не играют, а живут, так верят в происходящее, что разоблачают любого актера, который такой веры не нашел. Неожиданно мы подружились. Может оттого, что я вообще не умею сюсюкать и говорила с Наташей как со взрослой. А ей было шесть! Кроха!.. Она приходила ко мне в уборную и наблюдала, как меня гримируют.

– Тебе интересно играть мою бабушку? – спрашивала.

– Интересно.

– А ты меня уже любишь? – снова спрашивала она, когда мне натягивали парик.

– Я тебя всегда люблю, – говорила я.

– Но теперь, когда ты уже моя бабушка, сильнее?..

Наташа, теперь уже Наталья Александровна Защипина, впоследствии стала актрисой Московского академического театра Сатиры.

В 1947 году я снялась сразу в двух фильмах. В «Весне» Григория Александрова я играла эпизодическую роль Маргариты Львовны, тетушки главной героини.

Первоначально моей героине в сценарии отводился лишь один эпизод, в котором Маргарита Львовна подавала завтрак своей племяннице, которую играла Любовь Орлова.

Любочка Орлова! О, она гениальна! Когда в 30-х выдавали паспорта и не требовали никаких документов, она не растерялась и скостила себе десяток лет. Это я, идиотка, все колебалась: стоит ли? Потом подсчитала, что два года я все же провела на курортах, а курорты, говорят, не в счет. Так появился в моем паспорте 1897 год вместо 1895-го. И только! До сих пор не могу простить себе такого легкомыслия.

На тот момент мы были с ней знакомы, нам довелось сниматься вместе с Орловой – в фильме «Ошибка инженера Кочина».

Знакомство же непосредственно произошло на «Мосфильме». Тогда это был «Кинокомбинат» – жуткий недостроенный сарай,

всюду строительный мусор, запах извести и сырой штукатурки, вместо скамеек – штабеля свежеструганных досок, одна ярчайшая лампочка под потолком. И среди всего этого – Любочка в платье из «Петербургской ночи»:

– Я умоляю вас, будьте моей феей!

– Кем-кем? – не поняла я.

– Моей доброй феей, – повторила она ангельским голоском. – Мне предлагают большую роль в музыкальном фильме. Согласиться – значит бросить театр. Я жду вашего решения!

Я недолго думала:

– Сейчас вами любуются ваши близкие и зрители одного театра. А в кино вами будут восхищаться миллионы. Я благословляю вас.

...Александров любил снимать известных актеров и всегда шел им навстречу. «Можете сделать себе роль», – сказал он мне тогда. А я и согласилась и «сделала» роль! «Я возьму с собой «Идиота», чтобы не скучать в троллейбусе!», «Красота – это страшная сила!», «Скорую помощь! Помощь скорую! Кто больной? Я больной. Лев Маргаритович... Маргарит Львович...» – мои новые фразы пополнили народный фольклор. На просмотрах этой скучноватой вялой комедии публика в зрительном зале оживлялась при моем появлении на экране, а также Ростислава Плятта.

Плятт... Это настоящий клад, а не актер! Впервые нас свела судьба на съемках «Подкидыша», а потом нам было суждено всю жизнь вместе сниматься в фильмах, играть на сцене одного театра – театра имени Моссовета, где зрители нас запомнили в первую очередь по дуэту в спектакле «Дальше – тишина».

Григорий Александров был режиссером требовательным. Он не делал исключений ни для кого, в том числе и для своей супруги, с которой они всегда общались на «вы» и по имени-отчеству.

В «Весне» сцена, в которой восторженно-взволнованная героиня Орловой лежит на спине в своей комнате, закинув голову, Александров пытался максимально усилить эту сцену, используя для этого все возможные средства. Манипулировал освещением, бесконечно искал новые, нестандартные ракурсы. Только и слышались его возгласы: «Любовь Петровна, еще раз!». В общей сложности Орлова несколько часов пролежала в заданном положении, не меняя позы и, не жалуясь на усталость, пока сцена не была снята.

Я безумно благодарна ей и Александрову, что взяли меня на съемки в Прагу. Я повидала брата, с которым не виделась тридцать лет! Студия «Баррандов» – бывшая немецкая, с

роскошными павильонами и самой лучшей техникой. А по возвращении в Москву снова ледяные павильоны «Кинокомбината»... Я тогда нарисовала для Любочки «картину»: изобразила себя Маргаритой Львовной в валенках, в ушанке и подписала: «Ваш Фей». Это непременно демонстрировалось гостям. Пока я не выразилась однажды: «Орлова превосходная актриса. Одно у нее плохо – голос. Когда она поет, кажется, будто кто-то пишет в пустой таз». Григорий Васильевич еще позвонил мне, затеяв этот свой шедевр – «Русский сувенир»:

– Фаиночка, для тебя есть чудная роль – сплошная эксцентрика! Ты сыграешь бабушку Любочки.

– Гриша, побойся Бога, – не удержалась я. – Мы же с Любочкой ровесницы. Ты подумал, сколько лет должно быть этой бабушке?!

На съемках «Весны» я и Любовь Орлова подружились. Вот письмо, написанное Орловой в сентябре 1947 года из Венеции, где они с мужем представляли свое детище на международном кинофестивале:

«Дорогая Фаина Георгиевна!

...Вчера закончился фестиваль. «Весна» получила премию. На Ваших кусках очень смеялись. Вы чудная актриса, и я Вас очень люблю... Венеция с водяными улицами меня не устраивает для жизни. Завтра едем в Милан и Флоренцию. Затем в Рим. Думаю, числа 1-ого будем в Москве, если не поедem во Францию. Впечатлений очень много. Все Вам расскажу при встрече. Целую Вас, дорогая. Гриша тоже Вас целует. Самый сердечный привет от нас Павле Леонтьевне. Ваша Л. Орлова. 16.IX .47. Венеция».

Любовь Орлова! Да, она была любовью зрителей, она была любовью друзей, она была любовью всех, кто с ней общался. Мне посчастливилось работать с ней в кино и в театре. Помню, какой радостью для меня было ее партнерство, помню, с какой чуткостью она воспринимала своих партнеров, с редкостным доброжелательством. Она была нежно и крепко любима не только зрителем, но и всеми нами, актерами. С таким же теплом к ней относились и гримеры, и костюмеры, и рабочие – весь технический персонал театра. Ее уход из жизни был тяжелым горем для всех знавших ее. Любочка Орлова дарила меня своей дружбой, и по сей день я очень тоскую о дорогом моем друге, любимом товарище, прелестной артистке. За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег я не была так дружески привязана, как к дорогой доброй Любочке Орловой.

Орден за роль в кинофильме «Весна» я должна была получить в Кремле. Задолго до события составлялись подробные списки. Там указывалось все: год и место рождения, образование, работа, семейное положение и номер паспорта. Потом, недели за две, ставили в известность, когда и к каким воротам явиться. Помню, часам к двум у Боровицких, в садике, выстроился длинный хвост – никого не пускали, пока не выйдет время. Затем начали сличать фотографии в паспорте с наружностью, номера и прописку со списками... Пройдешь ворота – дальше ни с места, жди, пока всех проверят. Возле нас дюжина кагебешников в форме. Шестеро встали впереди, шестеро сзади – и повели колонну ко Дворцу.

«Как заключенных, – подумала я. – Только ружей конвою не хватает».

– Подтягивайтесь, товарищи! – торопили нас.

Всем-то любопытно, так и хотелось повертеть головами по сторонам, но нельзя! У входа во Дворец снова началась дотошная проверка. Все уже измотались – сил нет. Наконец поднялись по лестнице, появился Георгадзе. Расплылся в улыбке, сказал мне что-то об особом удовольствии, я тоже заулыбалась, а сама думаю:

«Скорей бы все это кончилось».

И бокал шампанского не поднял настроения... А главное, дальше – то же самое, но в обратном порядке.

– Теперь-то зачем? – закипала я. – Ну, каждый получил свое, ничего не украл, отпустите душу с Богом!

Нет, те же подозрительные взгляды, каменные лица, будто и «Весну» никогда не видели.

После «Весны» я снялась у Григория Александрова еще раз – два года спустя. В фильме «Встреча на Эльбе» мне досталась роль алчной американской генеральши Мак-Дермот. Сюжет агитки, снятой любимым режиссером Сталина, можно выразить одной фразой: советские люди хотят мира, а вот в Америке это желание разделяют далеко не все. Мне снова достался «характерный типаж», несмотря на то, что я никогда не видела американских генералыш.

В том же году я сыграла Мачеху в знаменитой сказке «Золушка» режиссера Надежды Кошеверовой. Эта картина – из немногих, принесших мне настоящую радость. В моей мачехе зрители узнавали, несмотря на пышные средневековые одежды, сегодняшнюю соседку-склочницу, сослуживицу, просто знакомую, установившую в семье режим своей диктатуры. Это бытовой план роли, достаточно злой и выразительный. Но в Мачехе есть и социальный подтекст. Сила ее, безнаказанность, самоуверенность кроются в огромных связях...

Одна из самых замечательных сцен в фильме с моим участием – это, безусловно, охота за знаками внимания короля и принца на балу. В этой сцене все было смешно: и то, чем занимается милое семейство, и то, как оно это делает. По сценарию дочери сообщают матери о знаках внимания, и та, зная силу документа, немедленно фиксирует в блокноте каждый факт.

Автор сценария – Евгений Львович Шварц, как никто другой, болезненно бережно относившийся к каждой фразе, каждому слову в сценарии, разрешил мне творить отсебятину. Там была еще такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья – это я сама придумала: мне показалось очень характерным для Мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья и любоваться собой. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку:

– С Богом!

Однажды во время съемок «Золушки» я обронила в траву свое кольцо и громко объявила:

– Я с места не сдвинусь, пока мы его не найдем! – Все поняли, что спорить бесполезно, опустили на четвереньки и начали ползать в поисках перстня, ругаясь себе под нос. Искали всей группой около часа. А когда нашли, я вновь пришла в хорошее расположение духа, расцеловала всех и пригласила на чай.

Наверное, я порой была совершенно невыносима для окружающих. Но мало кого так нежно и преданно любили друзья, мало кто вызывал такие теплые чувства у публики. Любовь эта порой принимала неожиданные формы и была под стать самой моей натуре. Однажды в доме отдыха мне нездоровилось, и я не смогла участвовать в самостоятельном концерте. Наутро ко мне в комнату пришла некая дама и сказала:

– Вы мне испортили весь вечер...

– Помилуйте, я же не выступала! – ответила тогда я, действительно не чувствуя за собой никакой вины.

– Вот этим как раз и испортили...

Среди других моих работ в послевоенные годы стоит отметить роль в драме «У них есть Родина», поставленной по пьесе Сергея Михалкова. Фильм рассказывал о том, как советские разведчики, разыскав на территории Западной Германии оказавшийся под присмотром английской разведки сиротский приют с советскими детьми, добиваются возвращения детей на родину...

Да, фрау Вурст у меня получилась. Вурст – по-немецки колбаса. Я и играю такую толстую колбасу, наливающую себя пивом. От толщинок, которыми обложилась, пошевелиться не

могла. И под щеки и под губы тоже чего-то напихала. Не рожа, а задница! Но когда я говорю о михалковском дерьме, то имею в виду одно: знал ли он, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения на Родину, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то тридцать сребреников не жгли руки?

А еще тогда мне предлагали работать на телевидении. В ответ я махнула рукой. Только мне и лезть на телевидение. Я пыталась отшутиться: «Представляете – мать укладывает ребенка спать, а тут я со своей мордой из телевизора: «Добрый вечер!». Ребенок на всю жизнь заикой сделается... Или жена с мужем выясняют отношения, и только он решит простить ее – тут я влезаю в их квартиру. – Боже, до чего отвратительны женщины! – подумает он, и примирение не состоится. Нет уж, я, скорее, соглашусь станцевать Жизель, чем выступить по телевидению. С меня хватит и радио. Утром, когда работает моя «точка», я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставаясь, как умалишенная, в экран. Да у меня его и нет. К соседу, Риме Кармену, не пойду. К Галине Сергеевне Улановой можно, но вдруг ей из-за меня придется менять планы? Вот, пожалуй, к кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Она мне будет рада искренне, без притворства. Когда мы с ней снимались в михалковском дерьме «У них есть Родина», мы так дружно страдали по своим возлюбленным – слезы лились в четыре ручья!

«Похоронные принадлежности»

Буквально тотчас же по возвращении из эвакуации в Москву я получила приглашение в Московский театр Революции. Позже он стал Театром драмы, а потом и вовсе Московским академическим театром им. Владимира Маяковского. Приглашение исходило от Николая Павловича Охлопкова, недавно назначенного главным режиссером театра. Он рассказал мне, что хочет поставить спектакль по раннему, ныне почти позабытому, рассказу Чехова «Беззащитное существо».

– Кто лучше вас может сыграть в чеховском спектакле? – сказал Николай Павлович, предложив мне роль Щукиной.

Те, кому довелось видеть меня в этом спектакле, утверждали, что никогда прежде я не играла столь бесподобно. Актеры других московских театров просили Охлопкова показывать «Беззащитное существо» поздно вечером, после двадцати двух часов, чтобы иметь возможность насладиться этим великолепным зрелищем после работы.

Летом 1945 года я попала в Кремлевскую больницу с подозрением на злокачественную опухоль. К моей радости опухоль оказалась доброкачественной, и в сентябре того же года я вернулась на сцену Театра драмы.

Лучшей моей ролью в Театре драмы стала роль Берди в пьесе Лиллиан Хелман «Лисички», поставленной в 1945 году. Драма американской писательницы, активной участницы антифашистского демократического движения, дважды посещавшей Советский Союз, рассказывала о семействе нуворишей, одержимом жадой наживы. Действие происходило в период реконструкции Юга. Вечная тема – губительная власть денег – неспроста так заинтересовала меня. Дело в том, что читая эту пьесу, я вспоминала свою собственную семью, свое детство, свою юность. Одиночество главной героини по прозвищу Берди, что в переводе с английского означало «птичка» тронуло меня до глубины души. Она просто задыхалась в гнетущем мирке, основанном на власти денег. Это не могло не затронуть сокровенных струн в моей душе.

В голове так и звучат слова:

– Двадцать два года и ни одного счастливого дня!

Сколько разговоров состоялось в одной гримировальной уборной театра драмы!

На гастролях нас часто селили в одном номере с другими актерами. Я получала много радости от общения с ними, несмотря на слухи о моем нелегком характере. Я всегда любила

говорить образно, иногда весьма озорные вещи. Высказывала их с большим аппетитом и смелостью, наверное, в моих устах это звучало как-то естественно. Хотя я знала, что в гримерке присутствовали артисты, не любившие и никогда не употреблявшие подобных слов и выражений. Меня это не смущало, и поэтому, высказавшись от души, я всегда добавляла:

– Ах, простите, миледи, я не учла, что вы присутствуете!

В Театре драмы я сыграла и много других ролей – от бабушки Олега Кошевого в спектакле «Молодая гвардия» по одноименной книге Фадеева до жены ученого Лосева в пьесе Александра Штейна «Закон чести». Фадеев однажды признался Николаю Охлопкову: «Образ бабушки Олега Кошевого создал не я, а Фаина Раневская!».

А в пьесе Штейна «Закон чести» нам вместе с Клавдией Пугачевой неожиданно пришлось играть одну роль – Нины Ивановны, жены профессора. Первоначально на эту роль была назначена я.

Мой первый выход сразу же пленял публику. Я выходила, садилась за пианино, брала один аккорд и под звучание этого аккорда поворачивала лицо в зал. У меня было такое выражение лица с закатанными кверху глазами, что публика начинала смеяться и аплодировать. Когда я брала второй аккорд и с бесконечно усталым выражением опять поворачивалась к залу. Смех нарастал. Дальше играть было уже легко, так как зрители были в моей власти. Играла я эту роль прелестно, как все, что она делала на сцене.

За роль Лосевой в 1949 году мне была присуждена Сталинская премия второй степени, первая Государственная премия в моей жизни. Пятьдесят тысяч рублей по тем временам были огромными деньгами, несметным богатством!

Звания народной артистки РСФСР Фаина Георгиевна я была удостоена двумя годами раньше – 5 ноября 1947 года, в преддверии празднования тридцатилетнего юбилея Октябрьской революции. В СССР любили награждать отличившихся к очередной революционной годовщине. Разрушив до основания «мир насилия», большевики принялись создавать мир новый, с новыми традициями.

Всего Сталинских премий у меня три. Про первую уже было упомянуто, вторую – так же второй степени – я получила в 1951 году за исполнение роли Агриппины Солнцевой в спектакле «Рассвет над Москвой», а третью – Сталинскую премию третьей степени – мне дали в том же, 1951 году за исполнение роли фрау Вурст в фильме «У них есть Родина».

Все свои награды я называла похоронными

принадлежностями или похоронными причиндалами. Все, кто слышал это впервые, понимали слишком буквально.

Что я вам – статуя?

До меня не единожды доходили слухи, будто бы режиссеру работать со мной было невероятно трудно. Так оно и было: я обожала вмешиваться в вопросы режиссуры, обсуждать трактовку роли, по несколько раз переписывать текст, придумывать всяческую «отсебятину»... Режиссеры то и дело слышали от меня, «испорченной Таировым» актрисы, такие фразы:

– В этой сцене я не буду стоять на одном месте! Что я вам – статуя?

– Я должна смотреть в глаза партнеру, а не отворачиваться от него! Ну и что, что там зрители? Вот вы, когда сейчас разговариваете со мной, вы куда смотрите – на меня или в зрительный зал?

– Уйти просто так моя героиня не может. Она должна оглядеть всех с торжествующим видом и только после этого покинуть сцену!

– Что это за чушь?!

– Этого я произносить не буду!

И не только режиссерам доставалось от меня. Другие актеры, декораторы, гримеры, осветители – каждая сестра получала по серьгам. Я была очень требовательна к себе и так же относилась ко всем, кому «посчастливилось» работать со мной рядом. Репетиции для меня были столь же важны, как и выступление перед зрителями, я никогда не терпела спешки, небрежности, фальши.

Некоторые считали меня придирой и склочницей, которая, вместо того чтобы играть роль, цепляется к мелочам, к совершенно незначительным деталям, например к цвету платка, который мой партнер доставал из кармана на сцене... Какие мелочи! Но для меня мелочей не существовало. Была роль. Был образ! Образ живого, настоящего человека, которого следовало сыграть так, чтобы зритель не заметил игры, не видел на сцене актрису, а видел Маньку-спекулянтку или, к примеру, Вассу Железнову. Мелочей нет – есть детали, соответствующие образу, и есть детали, ему не соответствующие, вот и все. Да и кто вообще сказал, что детали, нюансы, штрихи – не значительны, не важны? Ведь по большому счету все люди одинаковы, лишь эти самые нюансы делают их разными, отличными друг от друга.

Слухи о моем скверном характере были обусловлены тем, что я всегда действовала открыто. Громко, прилюдно, говорила вслух все, что думала и чувствовала. Сплетничать «на ушко», исподтишка распространять порочащие слухи, интриговать,

сколачивать группировки, юлить, выгадывать – все это было не по мне.

Я без преувеличения шла по жизни, как и по сцене – так же гордо подняв голову. Я жила и действовала открыто, а мои противники всегда действовали исподтишка. Так ведь надежнее и удобнее. Сладчайшие улыбки в лицо – и гадости за спиной. Все в рамках приличий, как полагается.

А еще меня, видимо, боялись. Ведь я могла припечатать одним словом. Да не припечатать – убить наповал.

«Помесь гремучей змеи со степным колокольчиком», «Маразмист-затейник», «Третьесортная грандиозность», «Не могу смотреть, когда шлюха корчит невинность» – все это мое авторство.

Мой путь на сцену был долг и тернист. Ради своей профессии, своего призвания мне пришлось преодолеть множество преград. Пойти на разрыв с семьей, снова и снова стучаться в захлопывающиеся перед ней двери, ведущие на сцену, выжить в годы Гражданской войны, да не в Москве, где хоть и было голодно, но не было такой свистопляски смерти, как в Крыму, многократно переходившем из рук в руки... Чего стоило одинокой слабой женщине выжить в это суровое время, выжить тогда, когда «вихрь революции» гулял по стране, сметая все на своем пути?

Выжить в таких условиях, не опуститься, не потерять себя, а наоборот – шатаясь от голода, выходить на продуваемую насквозь сцену и играть, играть и играть. Разве могла я после этого работать спустя рукава или спокойно смотреть на то, как это делают другие? Нет, конечно!

И сколько же раз моя требовательность и ответственность оборачивались против меня же самой!

Юрий Завадский, подобно всем творческим натурам, был неоднозначным, сложным человеком. С одной стороны, он охотно привечал в своем театре опальных актеров и режиссеров (например – Этель Коневскую, Аркадия Вовси, Леонида Варпаховского), с другой – благоволил откровенным мерзавцам и подхалимам. Он ценил меня за мой талант и ненавидел за мой характер.

Моя популярность никак не могла зависеть ни от режиссеров, ни от тех, кто руководил культурой, зачастую ничего в ней не понимая. Меня признавал и любил народ, не нуждавшийся в посредниках и указчиках для выражения своей любви. Но вот роли, награды, статьи в прессе – это зависело. И здесь меня обделяли как могли: не давали ролей, обходили наградами и похвалами. Награды и похвалы мало что значили для меня, но

вот роли... Без ролей, без сцены я просто задыхалась.

Завадский часто собирал труппу для бесед. Повод мог быть самый разный: новые стихи Расула Гамзатова или Евгения Евтушенко, ремарковская «Триумфальная арка», недавно прочитанная Юрием Александровичем, или даже... его вещий сон, бывало и такое. Беседы, по сути дела, были монологами Завадского. Величественными, напыщенными, картинными – он умел это. Я туда не ходила. Мне как-то задали вопрос:

– Фаина Георгиевна, а почему вы не ходите на беседы Завадского о профессии артиста? Это так интересно!

Другая актриса на моем месте уклонилась бы от ответа или придумала бы какую-то отговорку. Но я же ответила:

– Голубушка, я не терплю мессы в борделе. Да и что за новости?! Знаете, что снится Завадскому? Что он умер и похоронен в Кремлевской стене. Бедный! Как это, наверное, скучно – лежать в Кремлевской стене – никого из своих... Скажу по секрету: я видела его гипсовый бюст. По-моему, это ошибка. Он давно должен быть в мраморе.

А ведь принято считать, что режиссер – это фигура. В любом театре, от известного столичного до театра юного зрителя в каком-нибудь провинциальном городе. Режиссеру положено быть требовательным, суровым, нетерпимым к актерской бездарности, а актерам положено знать свое место и отношений с режиссером не портить. А то ролей не будет. Ни хороших, ни плохих. А без ролей актер – не актер, а так... ходячее недоразумение.

«Шо грыте?»

В 1949 году главный режиссер Театра имени Моссовета Юрий Александрович Завадский пригласил меня в свой театр.

Завадский, одно время бывший мужем Ирины Вульф, моей ближайшей подруги, знал меня еще с довоенных времен, когда судьба ненадолго свела нас в Центральном театре Красной Армии. Именно так тогда назывался Театр имени Моссовета.

Завадский готовился ставить спектакль по комедии И. А. Крылова «Модная лавка». В те времена охоты на «безродных космополитов» обращение к творческому наследию великого русского баснописца, весьма уважаемого коммунистическими идеологами за беспощадное высмеивание дворянских нравов, было беспроектным и политически верным шагом. К тому же, Иван Андреевич Крылов не писал скучного, и постановка его пьесы гарантированно привлекла бы зрителей.

В «Модной лавке» я играла роль госпожи Сумбуровой, «степной щеголихи, которая лет 15 сидит на 30 году. Вдобавок своенравной, злой, скупой, коварной, бешеной...». Я, по своему обыкновению, вложила в образ чванной и глупой дворянки весь свой талант, и Сумбурова в моем исполнении удалась, как говорится.

В 1949 году я ушла из Театра Драмы и поступила на работу в Театр им. Моссовета. Здесь я играла очень мало. Репертуар театра состоял из рядовых, а порой и просто бесцветных и скучнейших спектаклей, приуроченных к очередным советским праздникам. С большим трудом меня уговорили на роль старухи в спектакле «Рассвет над Москвой». Моя героиня по сценарию представляла этакую мать-совесть, режущую правду-матку. От скуки и раздражения я превратила свою роль в капустник на заданную тему, и каждое мое появление на сцене сопровождалось аплодисментами.

Как-то мне достался эпизод в пьесе «Шторм». На первую же репетицию я принесла огромный талмуд. Все знали: я переписываю роль от руки. Я принесла десятки вариантов каждого кусочка, чуть ли не каждой реплики своей роли. Я почти полностью переписала текст, Завадский замер.

– Фаина... но драматург, что он скажет? – недоумевали коллеги.

Драматург прочитал, побагровел и стал так хохотать, что все испугались.

– Здесь ничего нельзя менять, – сказал он, – все оставить... как у Раневской.

На следующий день я принесла еще несколько вариантов.

– Оставьте ее, – сказал драматург, – пусть играет, как хочет и что хочет. Все равно лучше, чем она, эту роль сделать невозможно.

Моя игра в эпизоде в Шторме была очень яркой и затмевала всех остальных актеров, включая и исполнителей главных ролей. Завадский не хотел мириться с этим, и вскоре лишил меня роли.

Все это, конечно же, не могло устраивать меня, и в 1955 году я покинула театр. Уход из Театра имени Моссовета в первую очередь был вызван напряженными отношениями с самим Завадским и его ведущей актрисой, его «примой» Верой Марецкой. Они не могли спокойно взирать на ту популярность, которой пользовалась я, и не желали работать вместе со столь «неудобной особой».

Все произошло интеллигентно, без скандалов и выноса сора из избы. Мы даже сохранили между собой видимость дружеских отношений. Просто Завадский несколько раз намекнул, что он не слишком удерживает меня и не станет возражать против моего перехода в другой театр.

А я и перешла в театр Пушкина – бывший Камерный театр. Одной из причин было то, что именно в Камерном я когда-то начинала свою карьеру. Однако от старого Таировского театра ничего не осталось.

Здесь я проработала до 1963 года, но затем ушла и отсюда... Возможно, трепетно лелея в душе память о работе с Таировым, я надеялась на то, что сами стены бывшего таировского театра помогут мне. Разумеется, я очень боялась возвращаться в театр, где когда-то начинала свою московскую карьеру! Меня уговаривали, убеждали. Говорили, что того Камерного театра давно уж нет. Говорили, что он перестроен. Говорили много...

Перестроили зрительный зал, устроенный Александром Яковлевичем в стиле строгого модерна. Перестроили так, что от того, прежнего, не осталось и следа. Точнее говоря – не перестроили, а испортили, изувечили, испохабили в любимом советском стиле помпезного мещанского ампира.

С благословения верхов этот ужасный стиль с его канелюрами, с его псевдоконическими завитушками, с огромными тяжелыми «ветвистыми» люстрами и с креслами, обитыми плюшем, мгновенно расползся по всей стране – от Кремлевского дворца съездов до привокзальных ресторанов в глухой провинции.

При виде того, во что превратился бывший зрительный зал бывшего Камерного театра, мне захотелось плакать. Я оглядела сцену – сцена была та же, что и прежде. Я далеко не сразу

решилась снова ступить на нее...

Самым же большим потрясением, или вернее сказать – разочарованием, стали для меня мои партнеры, актеры пушкинского театра. Увидев их, я окончательно поняла, что от таировского театра действительно ничего не осталось! Ни-че-го!

Я вспомнила актеров Камерного, как мужчин, так и женщин. Их фигуры были выразительны, грация непринужденна, а пластика – просто бесподобна! Любуясь своими бывшими коллегами, я в глубине души всегда ждала, что Таиров в скором будущем возьмется за постановку балета. Если не «Лебединого озера», так хотя бы «Дон Кихота» точно!

В новом театре мне сразу же дали роль в спектакле «Игрок» по Достоевскому, кстати говоря, одному из любимых моих писателей. Я сыграла в этом спектакле бабушку Антонида Васильевну – роль неоднозначную, трагичную. Властная старуха, настоящая русская помещица, хоть по болезни и не встающая с кресла, упивается своей властью над теми, кто ждет не дожидается ее смерти. Внезапный ее отъезд в Европу стал подлинной катастрофой для алчных наследников ее состояния, прожигающих в игорных заведениях не только деньги, а всю свою жизнь... Антонида Васильевна отказывает всем им в деньгах, упрекнув: «Не умеете Отечества своего поддержать!», и, желая, чтобы никто больше не ждал ее смерти, проигрывает в рулетку все свое состояние.

Хорошо поставленный спектакль «Игрок» имел огромный успех главным образом благодаря моему участию. Зритель, что называется, «шел на Раневскую».

В Театре имени Пушкина я проработала недолго. Юрий Завадский... позвал меня обратно. Да-да, позвал. Правда, не лично, а через посредника – Елизавету Метельскую. Причина такого неожиданного поступка была самой банальной: с моим уходом Театр имени Моссовета потерял значительное количество своих зрителей, тех самых, которые «ходили на Раневскую». Потеря была столь существенной, что главный режиссер театра наступил на собственные амбиции и завел со мной переговоры о возвращении.

Поначалу моя реакция была категоричной:

– Слушать не хочу ни о Завадском, ни о его театре, даже уборщицей туда не пойду!

Метельская передала мои слова Завадскому и на этом сочла свою миссию парламентаря исполненной. Однако через некоторое время я по собственному желанию сказала ей:

– Я бы вернулась в театр Завадского, если бы мне предложили что-то из Достоевского. Я продолжаю сама с собой

играть Антонииду Васильевну, но чувствую, что созрела сыграть Марию Александровну. Недавно перечитывала «Дядюшкин сон» – так хочется побывать Марией Александровной!

Конечно же, причина перемены решения крылась не столько в Достоевском, сколько в том, что на новом месте, в Театре имени Пушкина, у меня возникли такие же напряженные отношения с руководством, что и на прежнем месте. Главный режиссер Борис Равенских и его ведущая актриса Вера Васильева были недовольны тем, что я получала львиную долю зрительских симпатий.

И снова все делалось в рамках приличия – ни споров, ни ссор, ни скандалов... Так же, как и в Театре имени Моссовета, меня оставили без ролей. Классическое решение: перекрой артисту кислород и не придется его выгонять со скандалом – он уйдет сам.

Весной 1960 года я сыграла свою последнюю роль в Театре имени Пушкина – Прасковью Алексеевну в пьесе Алексея Толстого «Мракобесы», после чего осталась совсем без ролей.

Как и когда-то, в довоенное время, я не стала сидеть, сложа руки. Я ушла в кино на пять лет, благо там для меня роли находились.

Следующей моей ролью стал великолепный образ Маньки-спекулянтки, классической одесской торговли в пьесе Владимира Билль-Белоцерковского «Шторм». Билль-Белоцерковский был активным участником октябрьских событий 1917 года, участником Гражданской войны, партийным работником. Разумеется, он писал правильные, с точки зрения коммунистической идеологии, скучные пьесы. Новатор в душе, Владимир Билль-Белоцерковский стремился выразить возвышенную сущность революционной эпохи в новых формах драматургии, напрочь отрицая всякое значение театральных традиций и классического наследия.

Моя фраза «Шо грыте?» доводила зал до исступления. Когда меня спросили, как мне удалось столь достоверно, столь блистательно сыграть Маньку, я сослалась на свой опыт «спекуляции» времен Гражданской войны. Однажды я сделала роль спекулянтки Маньки, которая то и дело повторяла: «Шо грыте? Шо грыте?» так, что Завадский был недоволен:

– Эпизодический персонаж стал чуть не главным! – возмущался он, желая снять меня с роли. – Вы слишком хорошо играете!

– Если надо в интересах дела, я могу играть хуже! – ответила я.

За десятилетия совместной работы я хорошо изучила его

характер и выражала свои чувства в яркой, свободной форме. Однажды Завадский закричал мне из зала:

– Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел!

– То-то у меня чувство, что я наелась дерьма! – парировала я.

Я, видимо, многим мешала – и своим талантом, и тяжелым характером. Подолгу в театрах не служила. В театре меня любили талантливые, бездарные же ненавидели, шавки кусали и рвали на части.

Однажды театральный критик Наталья Крымова спросила меня:

– Фаина Георгиевна, почему вы так долго кочевали по театрам?

– Искала святое искусство, – ответила я.

– Нашли?

– Да.

– Где?

– В Третьяковской галерее.

Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть

Я никогда не была богатым человеком. Но не потому, что мало получала, – просто, как в юности, так и не научилась правильно распоряжаться деньгами. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть. Вещи покупаю, чтобы дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я, наверное. Я могла спокойно прийти в театр с гонораром за съемки и все раздать. Домработницы то и дело обсчитывали меня, пользуясь моей наивностью.

– Где сто рублей? – бывало, спрашивала я у помощницы по хозяйству.

А та отвечала:

– Что вы все о деньгах думаете? Это же зло. Я вот папиросы и зубную пасту купила.

Подобные диалоги случались довольно часто. Но я не только не наказывала обнаглевших женщин, а еще и делала им подарки. Приобретя как-то большую двуспальную кровать, я, спавшая до этого чуть ли не на раскладушках, тут же подарила ее домработнице, выходявшей замуж. А однажды помощница, собираясь на свидание, решила нарядиться в висевшую в прихожей шубку Любви Орловой, в тот вечер сидевшей у Раневской в гостях. Пришлось хозяйке дома четыре часа развлекать Любовь Петровну разговорами и просить задержаться еще на чуть-чуть, пока не раздался хлопок входной двери, и шуба не вернулась на свое место на вешалке.

Своим гостям и посетителям я могла засунуть духи или салфеточки в карман. Придя домой и обнаружив у себя «гостинец», они, наверное, были приятно удивлены. У меня была какая-то странная потребность делиться. Дверь в мою квартиру всегда была открыта днем и ночью. Этим всегда пользовались «добрые люди».

Нередко ко мне за чем-то обращались. Я могла позволить себе ответить и в таком жанре, если, конечно, мне было «чревато».

– Фаина Георгиевна, Вы ведь добрый человек, вы не откажете.

– Во мне два человека, – отвечала я. – Добрый не может отказать, а второй может. Сегодня как раз дежурит второй.

А однажды в квартиру позвонил молодой человек и, сказал, что работает над дипломом о Пушкине. На эту тему я была готова говорить всегда. Он стал приходить чуть ли не каждый день.

Приходил с пустым портфелем, а уходил с тяжеленным. Вынес половину библиотеки. Я, разумеется, знала об этом. И почему я на это не реагировала? Почему? Я ему страшно отомстила! Когда он в очередной раз ко мне пришел, я своим голосом в домофон сказала:

– Раневской нет дома!

Однажды, получив в театре деньги, я поехала к вернувшейся из эмиграции Марине Цветаевой. Зарплата была выдана пачкой. Я подумала, что сейчас я ее и разделю, а Марина Ивановна, не поняв, взяла всю пачку и сказала:

– Спасибо, Фаина! Я тебе очень благодарна, мы сможем жить на эти деньги целый месяц.

Тогда я пошла и продала свое колечко. Вспоминая об этом, я ловлю себя на мысли, что как же я была счастлива, что не успела тогда поделить пачку! Как-то раз Анна Ахматова сказала мне:

– Вам 11 лет и никогда не будет 12!

Она и не соврала. Я и впрямь даже в старости, несмотря на грозный неукротимый нрав и величественность, во многом ребенок, который то и дело корит себя за бестолковость и забывчивость, за вечное разбазаривание денег, изумляя окружающих тем, как легко ударялась в слезы, изводя порой невероятными капризами.

Когда закончились съемки «Золушки», я сразу получила какую-то большую сумму денег. То есть не большую, деньги тогда были дешевы, а просто очень толстую пачку. Это было так непривычно. Так стыдно иметь большую пачку денег! Я пришла в театр и стала останавливать разных актеров.

– Вам не нужно ли штаны купить?

– Вот, возьмите на штаны.

– А вам материя не нужна? Возьмите денег!

И как-то очень быстро раздала все. Тогда мне стало обидно, потому что мне тоже была нужна материя. И к тому же почему-то вышло так, что я раздала деньги совсем не тем, кому хотела, а самым несимпатичным...

Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться

Поклонники – это вообще отдельная тема в моей жизни. Однажды ко мне подошла дама средних лет и с восторгом спросила:

– Скажите, вы – это она?!

На что я ответила:

– Да, я – это она!

В другой раз очередная почитательница принялась выведывать мой домашний телефон.

– Откуда я знаю? – сказала я ей. – Я же не звоню сама себе!

Мои шутки и быстрота реакции прославили меня едва ли не больше киноролей и работ в театре. Бывало даже, что за мной записывали, ловили каждое слово и... боялись. Потому что иногда мои реплики звучали как приговор. Особенно доставалось Завадскому, с которым у меня всегда были непростые отношения. После награждения Завадского медалью Героя Социалистического Труда я в присутствии всей труппы произнесла:

– Ну и где же наша Гертруда?

А зная его отношение к себе, я нередко говорила:

– Завадский простудится только на моих похоронах.

Как-то раз драматург Виктор Розов, автор знаменитых пьес «Вечно живые», «В день свадьбы» и многих других, как-то решил похвастаться передо мной:

– У моей последней пьесы был такой успех! Перед кассами творилась настоящая битва!

Я выслушала его и поинтересовалась:

– И как, людям удалось получить деньги назад?

Я никогда не любила хвастовство и себялюбие. К чему все это? Ведь под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная задница! Так что меньше пафоса, господа!

Те, кто меня любил, никогда на меня не обижались. А я более всего любила влюбляться в людей – прежде всего за талант, который чувствовала в других, безошибочно в начинающих – Елене Камбуровой – услышав ее, тут же написала на радио восторженное письмо, Марине Нееловой – «Неелочке», сыгравшей лично для меня спектакль на кухне.

Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй

Я сыграла в своей творческой и сценической жизни и Вассу Железнову, и Бабуленьку в «Игроке», и Марью Александровну в «Дядюшкином сне», и Фелицату в спектакле «Правда – хорошо...», и Люси в «Дальше – тишина». Я переспала с несколькими театрами, но так и не получила удовольствия.

Из режиссеров, с кем работала, ценила Ромма в кино и Таирова в театре. Других же по обыкновению едко высмеивала, пригвождая афоризмами: «уцененный Мейерхольд», «вытянутый лилипут»... Один был у меня «хрен-скиталец», другие – «с грудями во всех местах», «заслуженная мещанка республики», «жуткая дама без собачки».

Высмеивая других, я и себя не щадила. Свою кухню с развешенными под потолком трусами называла «мой итальянский дворик». По поводу собственной внешности – «с моей рожей надо сидеть в погребке и ждать околеванца».

Эти афоризмы-экспромты передавались из уст в уста, их записывали все кому не лень. Наверное, в глазах моих многочисленных поклонников я всегда представляла этакую юморной старухой, которая, словно армянское радио, способна ответить на любой вопрос.

– Какие женщины более верны в браке – брюнетки или блондинки? – спрашивали у меня.

– Седые! – отвечала я.

Очень часто в кино мне предлагали лишь эпизоды, в театре 10 лет не было новых ролей. «Раневская – это целая труппа», – писали обо мне в газетах. В принципе, так и есть, я могла бы сыграть всех, кроме Ленина, просто потому, что точно упала бы с броневика.

А меня так часто одолевали болезни, мучили утраты, вечная бессонница, недовольство собой, я играла чепуху, мне было неловко и стыдно перед публикой, я разочаровалась в своем театре и всех режиссерах, с кем мне довелось работать, кроме двух. Театр покатился в пропасть по коммерческим рельсам. Я так и не встретила «своего» режиссера, нередко с горечью я называла себя «выкидыш Станиславского». Считала себя «вполне нормальной психопаткой». В жизни мне больше всего помешала душа – как хорошо быть бездушной! И уж «нет большего счастья, чем обладать одной извилиной в мозгу и большим количеством долларов».

Я – одинокий человек. Кто знает – может, это и есть спутник славы и таланта. Семья не сложилось по многим причинам.

Мое жилище всегда было очень скромным. Когда я переезжала на новую квартиру, мне советовали перевозить вещи ночью, чтобы народ не увидел, как я живу.

– Ничего, он поймет. – ответила я.

Множество любимых фотографий, приколотых к стенам иголками от инъекций, постоянно незапертая дверь, обожаемая собака-уродец Мальчик, подобранный на Тверском бульваре с отмороженными лапами – все это моя жизнь и дорогие сердцу вещи. Мучаясь без сна, я часто слушала классическую музыку по радио, читала Мальчику Пушкина и Верлена по-французски. А когда засыпала ненадолго, во снах мне являлись Марк Аврелий, Толстой, Ахматова и любимейший мной Пушкин. Однажды во сне гений сказал мне:

– Как ты надоела мне со своей любовью, старая б...!

Эх, что у меня осталось? Юмор, печаль и любовь к тому, чего уже нет. И грустный итог: жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему... Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй...

А как же жить без юмора? Не жизнь, а ее жалкое подобие получится! Как бы ни было сложно в жизни, я всегда пыталась смотреть на все с «юморинкой». Сколько было таких случаев! Их не счесть! Вот, к примеру, еще один случай.

Перед олимпиадой 80-го года в московскую торговлю поступила инструкция: быть особо вежливыми и ни в чем покупателям не отказывать. И тут в магазин на Таганке зашел мужчина и спросил:

– Мне бы перчатки...

– Вам какие? Кожаные, замшевые, шерстяные? – ответили ему.

– Мне кожаные.

– А вам светлые или темные?

– Черные.

– Под пальто или под плащ?

– Под плащ.

– Хорошо... Принесите, пожалуйста, нам ваш плащ, и мы подберем перчатки нужного цвета и фасона.

Рядом стояла я и, разумеется, слышала весь этот разговор. Потом наклонилась к мужчине и театральным шепотом, так, чтобы слышал весь торговый зал, сказала:

– Не верьте, молодой человек! Я им уже и унитаз приволокла, а туалетной бумаги все равно нет!

Что такое любовь? Забыла. Только помню, это что-то очень приятное...

Как-то раз меня спросили:

– А как вы считаете, кто умнее – мужчины или женщины?

– Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? – ответила я.

Эх, мужчины, мужчины...

Мое первое свидание состоялось еще тогда, когда я была не Раневской, а Фельдман. Это было в ранней молодости и вышло все, надо сказать, неудачно. Один гимназист, поразил меня в самое сердце. Он имел замечательную фуражку, где над козырьком был надраенный герб гимназии, а тулья по бокам ее была опущена чуть ли не до ушей. Это великолепие буквально сводило меня с ума.

Придя же на свидание, я, к своему удивлению, застала на указанном мне гимназистом месте – скамейке в городском саду – незнакомую девочку. Девочка попросила меня уйти, объяснив, что якобы я уселась на скамью, на которой у нее назначено свидание. Я, разумеется, отказалась, объяснив, что и я нахожусь здесь по той же причине.

Вскоре на горизонте возник герой-гимназист, нисколько не смутившийся при виде обеих своих дам. Как ни в чем не бывало, он уселся на ту же скамью между нами и стал насвистывать какой-то мотивчик.

Незнакомка вновь потребовала от меня, чтобы я немедленно удалилась, на что я ответила категорическим отказом. Наши препирательства длились долго. Каждая из нас ревностно отстаивала свои права на заскучавшего к тому времени гимназиста. Затем гимназист и соперница пошептались, после чего та принялась кидаться в меня камнями.

Я заплакала и ушла, но вскоре вернулась и, остановившись в нескольких шагах от скамейки, на которой ворковали люди, разбившие мое сердце, с пафосом воскликнула:

– Вот увидите, вас накажет Бог!

И ушла, преисполненная достоинства и сознания выполненного долга.

Вот такой вот неудачный первый опыт в делах амурных...

За всю свою жизнь я так и не вышла замуж. При этом я оставалась глубоко одиноким человеком: у меня не было детей, театральная молва не зафиксировала ни одного моего романа.

Разве что с маршалом Федором Ивановичем Толбухиным, ушедшим из жизни в 1949 году...

Однажды с одним журналистом у меня состоялось вот такое небольшое интервью:

– Я не пью, я больше не курю и я никогда не изменяла мужу потому еще, что у меня его никогда не было, – заявила я, опережая возможные вопросы журналиста.

– Так что же, – не отставал тот, – значит у вас, совсем нет никаких недостатков?

– В общем, нет, – скромно, но с достоинством ответила я.

Но после небольшой паузы добавила:

– Правда, у меня большая задница и я иногда немножко привираю!

А потом как-то меня спросили, была ли я когда-нибудь влюблена. Я рассказала следующий забавный и немного грустный эпизод из своей юности. Лет в девятнадцать, поступив в труппу какого-то провинциального театра, я влюбилась в первого героя-любовника. Конечно же, он был настоящим красавцем, как и положено актеру, играющему такие роли. Я же была настоящей уродиной, даже в молодые годы, ходила за ним как тень, пялилась, словом, влюбилась как кошка... Он как бы и не замечал ничего, но вот как-то раз неожиданно подходит ко мне и говорит:

– Дорогая, вы ведь неподалеку комнатку снимаете? Верно?

– Верно...

– Ждите меня сегодня вечером, часиков около семи, я к вам загляну...

Я, конечно, немедленно отпросилась домой, накупила вина и еды, принарядилась, напудрилась, сижу и жду... Час жду, другой... Наконец, часов около десяти, является пьяный, растрепанный, в обнимку с какой-то крашеной стервой.

– Дорогая, – говорит, – погуляйте где-нибудь часок...

Вот это была моя первая и последняя любовь.

А был еще и такой случай. Я ехала в Ленинград. На свидание. Накануне сходила в парикмахерскую. Посмотрелась в зеркало – все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. И купе отличное, СВ, я одна. В дверь постучали.

– Да, да!

– Чай будете? – поинтересовалась проводница.

– Пожалуй... Принесите стаканчик, – улыбнулась я.

Проводница прикрыла дверь, и я услышала ее крик на весь коридор:

– Нюся, дай чай старухе!

Все. И куда я, дура, собралась, на что надеялась?! Нельзя ли повернуть поезд обратно?

Хотя один критик описал меня в молодости так: «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко, тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах декольтированного платья. Она напоминает маленького сверкающего колибри...».

Для меня самой и для зрителя, знающего меня только по фильмам и поздним ролям, это описание кажется противоречащим моим данным. Но ведь неслучайно в первом контракте мое амплуа было обозначено как «героиня-кокетка».

В 1913 году у меня был любовник гусар-кавалерист. Когда мы остались вдвоем, я уже лежала. Когда он разделся, подошел ко мне, и я вскрикнула:

– Ой, ну ничего себе!

А он довольно улыбнулся и, покачав в воздухе своим достоинством, гордо сказал:

– Овсом кормлю!

Я и сейчас смеюсь, вспоминая этот комичный момент.

А однажды я забыла люстру в троллейбусе – новую, только что купленную. Загляделась на кого-то и так отчаянно кокетничала, что вышла через заднюю дверь без люстры: на одной руке сумочка, другая была занята воздушными поцелуями...

Много позже я присутствовала на одном литературном вечере. И одна девушка задала мне вопрос:

– Фаина Георгиевна, а что такое любовь?

– Забыла, – ответила я и, спустя минуту, добавила: – Но помню, что это что-то очень приятное!

Но, однажды меня пригласила к себе образованнейшая, утонченнейшая женщина XIX века – Щепкина-Куперник. Я благоговела перед нею, согласно кивала, когда она завела речь о Чехове, о его горестной судьбе и ялтинском одиночестве, когда супруге все недосуг было приехать. После третьей рюмки я почувствовала себя достаточно раскрепощено:

– Татьяна Львовна, а ведь Ольга Леонардовна Книппер-Чехова – б....

И тут же обмерла от ужаса: сейчас мне откажут от дома!

Но изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула:

– Б..., душенька, б...!..

Эх, любовь-любовь... Грех не пошутить на эту тему! Не без иронии и горечи, разумеется!

Вот если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще – если у женщины есть голова, то у нее есть

любовник! Вроде бы ничего грустного, но если вдуматься...

Также как не высмеять свое одиночество? Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.

У меня была и всесоюзная слава, и поклонение толпы, и мужчины, и поклонники. Но это не сделало меня счастливой. Столько любви, а в аптеку сходить некому! Признание моего таланта не могло заменить личного счастья.

Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества

В жизни каждого человека наступает период подведения итогов, время, когда, оглянувшись назад, мы спрашиваем себя – удалось ли нам достичь того, чего мы желали? Сбылись ли наши мечты? И если да – то счастливы ли мы? Ответы на подобные вопросы порой находятся мучительно больно. Что есть счастье? Как его измерить? Чем?

Однажды я перечитывала строки из дневника Анны Андреевны Ахматовой... «Теперь, когда все позади – даже старость – и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то почти мучительно проясняется: люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И сколько горьких и даже страшных чувств...».

Как же она права! Я бы написала все то же самое. Там, в конце, у последней черты, и гении и обычные люди чувствуют себя одинаково. Уходит прочь страх перед неизбежным и наступает просветление. Страшным бывает лишь осознание того, что ничего изменить уже нельзя. Поезд ушел...

Кстати говоря, мой талант так и не был востребован сполна. За всю свою долгую жизнь я не сыграла и трех десятков ролей в кино, причем большинство из них были эпизодическими. Этого, конечно же, мало, очень мало. Да и в театре меня не баловали ролями... Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я создала? Пропищала, и только.

Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. Охлопков, Попов были снисходительны, Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. В театре Завадского заживо гнию. Иногда приходит в голову что-то неглупое, но и тут же забываю это неглупое. Умное давно не посещает мои мозги.

Мое одиночество было созвучно одиночеству моего дарования, оказавшегося неудобным в те времена, когда талант отступал перед идеологией, когда серая посредственность, играя Ленина или Брежнева, могла вознестись к вершинам славы, а всего лишь одно неосторожное слово могло стоять человеку не только карьеры, но и жизни.

Сколько же их было у меня, этих неосторожных слов! Взять хотя бы один из моих любимых анекдотов о том, что Бог, собираясь создать землю, заранее знал, что в двадцатом веке в

России будет править КПСС, и решил дать советским людям такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешался черт и убедил своего оппонента в том, что сразу три столь значительных качества будет чересчур. Довольно и двух. Бог согласился, и оттого, если человек умный и честный – то он беспартийный, если умный и партийный – то нечестный, если честный и партийный – то дурак.

Большую часть моей личной жизни составляла переписка. Письма многочисленных почитателей приходили со всего Советского Союза – от людей, проживших долгую жизнь и только начинающих жизнь: школьников, студентов, молодых актеров. Письма были разные: добрые, наивные, глупенькие, умные, интересные и пустенькие, и на все я непременно отвечала, даже на все поздравительные открытки: это невежливо – не отвечать, да и как же можно обидеть человека! Сотнями покупала я почтовые открытки для ответов, и их всегда было мало. Ведь часто человек, совсем неожиданно получивший ответ, опять с благодарностью писал мне, и так возникала переписка. Вероятно, ее было бы интересно опубликовать, она много рассказала бы о людях, о времени, обо мне.

Однако в начале 60-х был у меня был период, когда я не чувствовала себя одинокой. Я получила письмо от своей сестры Изабеллы Георгиевны Аплеен, которая жила одно время во Франции, а потом, похоронив мужа, переехала в Турцию. Сестра была тоже одинока и просила помочь вернуться в СССР. Все хлопоты по устройству воссоединения меня и сестры взяла на себя тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева. Узнав, что разрешение на приезд Изабеллы получено, я отправилась поблагодарить министра.

– Вы – мой добрый ангел, Екатерина Алексеевна! – произнесла я своим басом. На что Фурцева ответила:

– Я не ангел, а советский партийный работник.

Несколько лет мы прожили вместе. Вскоре у Беллы обнаружили рак. Я вызывала лучших врачей, проводила с ней – уже безнадежной – ночи. Больница, операция – все было бессмысленно. В 1964 году Белла умерла...

Я, вновь оставшись одна, поменяла квартиру, где жила с сестрой, и переехала в Южинский переулок в престижный дом для руководящих работников, расположенный неподалеку от Театра им. Моссовета, в котором служила.

И снова одиночество. Будь он проклят, этот талант, сделавший меня такой! Моей семьей было, как это ни высокопарно прозвучит, искусство. А о семье обычной я не раз говорила: «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем завести ее,

надо решить, что для вас важнее – все или семья». Внука своей близкой подруги, надумавшего жениться, я предупреждала, не без доли юмора, разумеется:

– Вот женишься, тогда поймешь, что такое счастье. Но будет поздно.

Новый год я всегда встречала одна. Обзванивала друзей, поздравляла их с праздником и предупреждала, чтобы они не вздумали навещать меня.

– Эту ночь я проведу с очаровательным молодым человеком, – говорила я им.

– Как его зовут? – интересовались они.

– Евгений Онегин!

В моей почти пустой квартире было очень много цветов и всегда пустой холодильник... Мне все равно ничего нельзя! Единственные продукты, имеющиеся в квартире, – пакеты с пшеном на подоконнике для птиц и птичек. Впрочем, квартира очень даже не пустая: книги, книги, книги, многие на французском языке, «Новый мир», газеты, очки. Мой Мальчик знал всю французскую поэзию. И на всех обрывках листов, на коробках – записанные, зафиксированные в эту секунду пришедшие мысли. Кое-где споры, замечания. На одной странице жестокая характеристика известного театрального деятеля: «Он великий человек, он один вместил в себя сразу Ноздрева, Собакевича, Коробочку, Плюшкина – от него исходит смрад...».

Как раз меня спросили:

– Фаина Георгиевна, вы верите в Бога?

– Я верю в Бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, что это дело рук Божьих...

...Я часто бывала колючей, язвительной, но злой не бывала никогда. Я могу огорчить, но обидеть – никогда. Обижала я разве что саму себя.

Вы – мой поэт!

Я всегда любила и восхищалась Ахматовой. Стихи ее смолоду вошли в состав моей крови.

Мы познакомилась с Ахматовой еще в юности, в те далекие времена, когда я сама жила в Таганроге. Познакомилась по своему собственному желанию – прочла ахматовские стихи, прониклась, впечатлилась и, оказавшись с семьей в Петербурге по дороге в Париж, решила познакомиться. Нашла квартиру Ахматовой и с замиранием сердца позвонила в звонок у дверей. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала:

– Вы – мой поэт! Извините меня за нахальство.

Она пригласила меня в комнаты и одарила меня дружбой до конца своих дней.

– Вы пишете? – поинтересовалась у странной посетительницы Ахматова.

– Никогда не пыталась.

– Поэтов не может быть много! – ответила она.

Ахматова была женщиной больших страстей. Вечно кем-то увлекалась и вечно была в кого-то влюблена. Во время прогулки по Петрограду Анна Андреевна шла по улицам и, указывая на окна, говорила мне:

– Вот там я была влюблена... А вон за тем окном я целовалась.

Анна Андреевна высоко ценила мой талант. Когда я однажды читала Ахматовой Бабеля, она услышала:

– Гений он, а вы заодно!

Такая похвала из уст Ахматовой была ценна втройне, ведь поэтесса отличалась прямоотой и не умела, да и не хотела льстить никому.

Когда я была в Ташкенте, придя к ней впервые, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

– Я буду вашей madame Lambaille, пока мне не отрубили голову – истоплю вам печку! – сказала я тогда.

– У меня нет дров, – сказала она весело.

– Я их украду.

– Если вам это удастся – будет мило.

Большой саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад

за вас буду, а деньги что? Деньги не все».

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.

– А я сейчас встретила Платона Каратаева.

– Расскажите...

«Спасибо, спасибо», – повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели. Никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она. Как-то Анна Андреевна за что-то на меня рассердилась. Я, обидевшись, сказала ей что-то дерзкое.

– О, фирма – два петуха! – засмеялась она.

В Ташкенте мы сблизились необычайно. Мы буквально дня не могли провести друг без друга. Гуляли по Ташкенту, слушая переливчатое журчание арычных струй, наслаждались запахом роз, дивились необычайной синеве небесного купола... Мы навещали друг друга, делились сокровенным... Однажды, когда мы возвращались домой после прогулки, то по дороге нам встретились солдаты, марширующие под солдатские песни. Анна Андреевна остановилась и долго смотрела им вслед, а затем призналась мне:

– Как я была бы счастлива, если бы они пели мою песню...

Однажды я, смеясь, рассказала Анне Андреевне о том, как в Крыму, в Ялте, при белых, я увидела толстую пожилую поэтессу в парике, которая сидела в киоске и продавала свои книги – сборник стихов под названием «Пьяные вишни». Стихи были посвящены «прекрасному юноше», стоявшему тут же, в киоске. «Прекрасный юноша» тоже был немолод и не блистал красотой. Торговля шла плохо – стихи не покупали. Тогда людям было не до поэзии. Ахматова возмутилась и стала стыдить меня:

– Как вам не совестно! Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрая! Как вы могли не помочь?!

Анна Андреевна доверяла мне все самое сокровенное. В Ташкенте она отдала мне на хранение толстую папку, в которую я, разумеется, и не стала заглядывать. Потом, когда у Ахматовой во второй раз арестовали сына, она сожгла эту папку. В папке были, как выразились впоследствии литературоведы, «сожженные стихи Ахматовой». После я очень жалела о том, что не открыла папку и не переписала все стихотворения, но в глубине души я прекрасно осознавала, что никогда не пошла бы на такое и не обманула бы доверия Анны Андреевны.

Я всегда была желанной гостьей в двухэтажном доме на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, в котором

поселили эвакуированных писателей. Наружная лестница, ведущая на второй этаж, открытый коридор, опоясывающий дом, и в нем двери, двери, двери... Каждому писателю дали по отдельной комнате. Писатели были счастливы, даже грязь, непролазная грязь во дворе, не могла испортить впечатления от таких поистине царских условий. Стрекот машинок, доносившийся из окон, порой перебивал уличный среднеазиатский шум!

Я нередко бывала на литературных вечерах, проходящих в комнате Ахматовой, на которых также бывали Елена Булгакова, вдова Михаила Афанасьевича Булгакова, поэт Владимир Луговской, искусствовед и художественный критик Абрам Эфрос. Я познакомила Елену Сергеевну Булгакову с Анной Ахматовой. Знакомство оказалось весьма перспективным – очень скоро оно выросло в дружбу. Анна Андреевна была очень высокого мнения о Елене Сергеевне, часто повторяя: «Она умница, она достойная! Она прелесть!». Булгакова жила в доме на Жуковской. Съехав оттуда, она оставила свою большую просторную светлую комнату Ахматовой, причем там нашлось место и для меня.

Уже после возвращения в Москву я пыталась через некоторых маститых писателей помочь Елене Сергеевне с изданием произведений ее мужа. Причем действовала столь энергично, что одними писателями не ограничилась – подключила к делу и служителей других муз, таких как Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, Роман Кармен, Галина Уланова.

А когда Ахматова заболела тифом, я, конечно же, ухаживала за ней. На кровати – Анна Андреевна, закрытая чем-то серым: она болела. Белые, невероятной чистоты линий открытые руки, усталые глаза, а на губах – легкая улыбка. Она заметила, что я смутилась, и, как бы ободряя меня, сказала: «Ничего, сейчас все пройдет». Протянула свою нежную руку – и огонь в печке загорелся. Я не помню уже, о чем говорили, не помню ни дыма, ни холода, ни тревоги, ни бедности, а только ее глаза. Они не светились, но в них был внутренний огонь такой силы, что кроме ее глаз ничего не существовало. Своим негромким, чуть ироническим голосом, медленно произносящим обычные слова, а иногда особенно звеневшим, она читала стихи.

Наша дружба выдержала и войну, и даже период после принятия в августе 1946 года печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) о закрытии журнала «Ленинград» и смене руководства журнала «Звезда» с критикой поэзии Анны Ахматовой и прозы Михаила Зощенко. Анне Андреевне крепко и незаслуженно досталось от властей, но хуже всего было то, что от нее отвернулись многие из тех, кого она искренне считала своими

друзьями. Для большинства знакомых и «друзей» Ахматова словно перестала существовать. Я, напротив, еще больше сблизилась с подругой, которой так сильно требовалось простое человеческое участие. Я использовала любую возможность для того, чтобы навестить Ахматову в Ленинграде, поддержать, подбодрить, отвлечь.

Ее смерть стала для меня ударом. Я всегда по ней очень скучала. Гений и простой смертный чувствуют себя одинаково в конце, перед неизбежным. Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее... Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела на деревья и, увидев меня, закричала:

– Дайте, дайте мне Раневскую!..

Осторожно, бабушка!

Все это время я практически не снималась в кино. Да и о тех редких работах ничего лестного я сказать не могла. Так, снималась в ерунде. Съёмки были похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства, а впереди – провал, срам, если картина вылезет на экран.

Фильм «Осторожно, бабушка!» Надежды Кошеверовой, где я сыграла главную роль, получился откровенно провальным. Я восприняла это как личное оскорбление и поссорилась с режиссером, которая долгие годы была моей подругой.

До 1960 года я снималась у Кошеверовой только в «Золушке». Я так и не простила ей эпизода, вырезанного из сцены примерки хрустального башмачка одной из дочерей Мачехи. Когда тот пришелся впору, я громко командовала капралу:

– За мной! – и тут же запевала: Эх ты, ворон, эх ты, ворон, пташечка! Канареечка жалобно поет!

С этой песней мы должны были маршировать во дворец. Можно подумать, что мне приходилось в кино часто петь!

В 1954 году Кошеверова, будучи женщиной смелой, попробовала свои силы в жанре эксцентрической комедии, сняв картину из жизни артистов цирка. Фильм «Укротительница тигров» стал одним из лидеров проката. Вдобавок Кошеверова открыла новую восходящую звезду – талантливую молодую актрису Людмилу Касаткину. Всего Надежда Кошеверова поставила восемнадцать кинофильмов, многие из которых до сих пор с интересом смотрят зрители.

К сожалению, фильм «Осторожно, бабушка!», снятый в 1961 году, получился откровенно слабым и не пользовался успехом у зрителей. Я сыграла в нем бабушку, бойкую и энергичную пожилую даму, которая весь фильм проводит в бесконечной беготне, пытаясь устроить личную жизнь любимой внученьки.

Интересный факт: звание народной артистки СССР мне было присвоено вскоре после выхода на экран этого фильма. Впрочем, и Сталинские премии давались мне не за самые лучшие, а за самые «идеологически правильные» роли. Недаром моя героиня строго отчитывала свою внучку-комсомолку за неактивную социальную позицию!

Шутки шутками, но если вдуматься... Как ужасно, что я получала награды за свои самые неудавшиеся, самые неинтересные, самые шаблонные роли, а грандиозные образы, созданные мною, оставались непризнанными.

Если после «Золушки» Надежда Кошеверова и я, то неудача с

«Бабушкой» практически рассорила нас.

То ли желая загладить свою несуществующую вину передо мной, то ли просто желая взять реванш, в 1965 году Кошеверова приглашает меня на роль директора цирка в фильме «Сегодня новый аттракцион». Роль, кстати говоря, была довольно прилично выписана и полностью укладывалась в мое амплуа. Роль была неплохой, и я после долгих уговоров согласилась. Правда при этом я выдвинула ряд условий. Во-первых, двойная оплата. Во-вторых, я заявила, что приеду на студию только один раз, – значит, декорации выстраиваются под меня. Кроме того, ехать я должна в отдельном купе – не над колесами, а в середине вагона. Жить – в «Европейской», причем непременно с видом на Русский музей – в том крыле, где поселяют иностранцев. Любой контакт с животными исключался напрочь (по сценарию директор испытывает к ним патологическую страсть), официально это объяснялось острой астматической реакцией. Да, мои требования на тот момент были просто невероятными. И все же режиссер согласилась, хотя на практике условия были выполнены едва ли наполовину.

Довелось мне проявить себя и в мультипликации. Вернее, не совсем в мультипликации, а в озвучивании роли фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся».

Режиссеру Борису Степанцеву очень хотелось, чтобы «домомучительница» непременно говорила бы моим голосом. Он даже настоял на том, чтобы художник Юрий Бутырин придал домоправительнице общие со мной черты.

Для меня озвучивание мультипликационного персонажа было новью – раньше мне ничего подобного делать не приходилось, однако предложение я приняла, и был назначен день моего приезда в студию для записи.

Режиссер знал, насколько я любила вникать в детали, он был наслышан о моем доскональном знании самых сокровенных тайн актерского мастерства, и решил не ударить в грязь лицом. Готовясь к «высочайшему визиту», он прочел несколько книг, посвященных актерскому мастерству Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда...

Знакомясь со мной, Борис Степанцев с ходу выдал свою, еще никому не известную теорию работы с актером, родившуюся в его голове после прочтения вышеупомянутых книг.

– Ну, вот что, – дождавшись паузы, сказала я, – мне карманный Немирович-Данченко не нужен! Идите вот туда, – я указала пальцем на звукооператорскую рубку, – и смотрите на нас из этого аквариума. А мы с Василием Борисовичем начнем работать. – Василий Борисович Ливанов озвучивал Карлсона.

С кинематографом я рассталась легко, без сожаления. Я потому перестала сниматься в кино, что там тебе вместо партнера подсовывают киноаппарат. И начинается – взгляд выше, взгляд ниже, левее, подворуйте. Особенно мне нравится «подворуйте». Сперва, я просто ушам не поверила, когда услышала. Потом мне объяснили – значит, делай вид, что смотришь на партнера, а на самом деле смотри в другое место. Изумительно! Представляю себе, если бы Станиславскому сказали: «Подворуйте, Константин Сергеевич!». Или Качалову... Хотя нет... Качалов был прост и послушен. Он был чудо. Я обожала его. Он, наверное, сделал бы, как его попросили... Но я не могу «подворовывать». Даже в голод я не могла ничего украсть: не у другого, – помилуй бог! – а просто оставленного, брошенного, забытого не могла взять. Ни книги, ни хлеба... И взгляд тоже не могу украсть... Мне нянька в детстве говорила: чужое брать нельзя, ручки отсохнут. Я всегда боялась, что у меня отсохнут ручки. Я не буду «подворовывать»!

И я никогда более не жалела о том, что меня не снимали в кино. Напротив – театральных ролей, которых мне всегда недоставало, я ждала как манны небесной. В душе я была театральной актрисой. А кино – это так, мимолетное искушение, не более того.

Живу, как Диоген...

Я знаю, что была любима и вожжами, и публикой, и критикой. Рузвельт отзывался обо мне, как о самой выдающейся актрисе XX века. А Сталин говорил: «Вот товарищ Жаров – хороший актер: понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду. Все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает – и все равно всегда разная». Этот отзыв мне пересказал Сергей Эйзенштейн, для чего разбудил меня ночью, вернувшись с одного из просмотров у Сталина. После звонка мне надо было разделить с кем-то свои чувства, и я надела поверх рубашки пальто и пошла во двор – будить дворника, с которым мы и распили на радостях бутылочку.

Во времена моей молодости еще было деление на амплуа, и Осип Абдулов говорил, что актриса и героиня, и трагести, и гранд-коккет, и благородный отец, и герой-любовник, и фат, и простак, и субретка, и драматическая старуха, и злодей. Словом, я – целая труппа, считал Абдулов. Но это было неверно. Лирические роли удавались мне хуже, моим коньком было сочетание трагического и комического, эксцентричность, соединенная с психологической глубиной. Одна из лучших работ – роль Розы Скороход в кинофильме «Мечта». Но при божьем даре характером, как нередко считали окружающие, я отличалась чертовски трудным! Один актер даже собирался меня побить за то, что я сделала ему грубое замечание. Вообще-то виновата была я сама: реплику подала так тихо, что он не расслышал и замешкался с выходом на сцену. Но признать вину я не хотела и напала на беднягу:

– Кто это?! Я впервые вижу вас в театре. Это рабочий сцены? Я не работаю с любителями!

С годами я становилась все более едкой, от моих замечаний, от сарказма страдали не только артисты, но и режиссеры. Начинаящему композитору, сочинившему колыбельную, я как-то сказала:

– Уважаемый, даже колыбельную нужно писать так, чтобы люди не засыпали от скуки!

С Любовью Орловой мы были, можно сказать, приятельницами, но и в ее адрес я позволяла себе шуточки. От безобидной: «Шкаф Любови Петровны так забит нарядами, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать! И скоро умрет от ожирения» до колкого передразнивания: «Ну что, в самом деле, Чаплин, Чаплин... Какой раз хочу посмотреть, во что одета его жена, а она опять в своем беременном платье! Поездка

прошла совершенно впустую».

С людьми высокопоставленными я также не церемонилась. Как-то телевизионный начальник Лапин спросил у меня:

– В чем я увижу вас в следующий раз?

– В гробу! – ответила я.

Комната, в которой я жила в Старопименовском переулке, была кишка без окон, так что ее можно было уподобить гробу.

– Живу, как Диоген, – нередко говорила я, – днем с огнем.

Я много курила, и, когда известный художник-карикатурист Иосиф Игин пришел ко мне, чтобы нарисовать меня, я так и вышла – погруженной в клубы дыма на темном фоне. Также я была в темном халате и рассматривала альбом рисунков Гросса. Я жутко огорчалась, что ничем не могла угостить гостя.

– Доконала популярность, – жаловалась я ему. – Невозможно зайти в магазин. Меня сразу узнают, и вместо того чтобы делать необходимые покупки, приходится бежать. Хорошо еще, что у меня нет телефона, а то и дома покоя бы не было.

Видимо, чтобы облегчить мне судьбу и сложившуюся ситуацию, он прервал работу над рисунком и купил в ближайшем магазине мясные полуфабрикаты. А я тут же положила их на сковороду. Правда, пока он доводил рисунок, мы заговорились, и полуфабрикаты сгорели. Пришлось идти обедать в Дом актера. На Пушкинской площади я шепнула ему:

– Видите высокого человека в спортивной куртке? Это поэт Сергей Васильев.

– А вам не приходит в голову, – спросил он, – что в этот момент кто-то показывает на вас и говорит: «Видите эту импозантную даму с красивой сединой? Это...»

Я поспешно оглянулась и быстренько вошла в подъезд Дома актера.

Врачи ругали меня за то, что я не выпускала из рук сигареты, они удивлялись моим легким:

– Чем же вы дышите?

– Пушкиным, – отвечала я.

Вообще с этими сигаретами и папиросами у меня случалось немало казусов и каламбурчиков. Я как-то позволила себе одну вольность – стоять в своей гримуборной совершенно голой (так я отдыхала от громоздких сценических костюмов) и, при этом, как и полагается, курила. Вдруг ко мне без стука вошел директор-распорядитель Театра им. Моссовета Валентин Школьников. И ошарашено замер. А что мне было делать? Я спокойно и в непринужденной форме спросила:

– Вас не шокирует, что я курю?

...У меня было обостренное чувство сострадания... к мясу. Не

могу его есть: оно ходило, любило, смотрело... Может быть, я психопатка? Про курицу, которую пришлось выбросить из-за того, что нерадивая домработница сварила ее со всеми внутренностями, я подумала: «Но ведь для чего-то же она родилась!».

Я продолжала играть, даже когда мне это было уже трудно физически.

Вся театральная и нетеатральная Москва ходила в Театр Моссовета, чтобы посмотреть на меня в спектаклях «Странная миссис Сэвидж» и «Дальше – тишина». В «Тишине» мы с Пляттом играли старых супругов, которых разлучают дети, потому что никто из них не хочет забирать к себе сразу двоих родителей. Зал рыдал...

А в роли старой няньки Фелицаты в комедии Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше», я светила любовью, моя роль, собственно, и являла собой здравый смысл и добро. Я двигалась с трудом, выходила на сцену в мягких домашних тапочках, и все, наверное, понимали: это не решение художника по костюмам, а единственная приемлемая для больных ног обувь. Хуже всего было, что я все время волновалась, будто непременно забуду текст.

– Все, хватит, больше не могу играть! – каждый раз говорила я, но все умоляли меня не уходить из спектакля. По их словам, я была его талисманом.

Когда ко мне пришла в гости Мария Миронова, я пожаловалась ей:

– Это не комната. Это сущий колодец. Я чувствую себя ведром, которое туда опустили.

Разумеется, дважды лауреату Сталинской премии нельзя было долго оставаться в таких условиях. В начале пятидесятых я получила двухкомнатную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной. Новая квартира не шла ни в какое сравнение с былым «колодцем». Апартаменты именовались «квартирой высшей категории» и, надо сказать, носили это высокое имя по праву.

Правда, были у новой квартиры и недостатки. Из закрытых окон дуло, звукоизоляция оставляла желать лучшего. Вдобавок на первом этаже дома в числе прочих «учреждений быта» находилась булочная, и когда по утрам во время разгрузки машин с хлебом грузчики начинали швырять лотки на асфальт, весь дом тотчас же просыпался.

Поскольку с другой стороны дома находился кинотеатр «Иллюзион», я шутила:

– Я живу над хлебом и зрелищем! – перефразируя известный

возглас древнеримской черни перед гладиаторскими боями в Колизее во времена императора Августа: «Хлеба и зрелищ!»

Дом стоял довольно далеко от центра Москвы, от театра и тем более от Павлы Леонтьевны. Но я эту свою квартиру так и не полюбила. Несмотря на все ее достоинства.

В 1973 году я переехала в кирпичную шестнадцатизэтажную «башню» в Южинском переулке, чтобы жить рядом со «своим» Театром имени Моссовета.

С порога вошедшие попадали в небольшой холл с репродукциями Тулуз-Лотрека на стенах, который почти полностью был занят громоздким шкафом с двумя скрипучими дверцами. Из холла можно было пройти направо по коридору на кухню и в спальню, устроенную всю сплошь в темно-синих тонах, со множеством фотографий, висевших по стенам. Павла Леонтьевна Вульф, Анна Андреевна Ахматова, Василий Иванович Качалов, Любовь Петровна Орлова...

Пройдя из прихожей прямо, гости оказывались в гибриде гостиной и кабинета – просторной светлой комнате, главным украшением которого служил светло-зеленый гарнитур карельской березы, приобретенный мною «по случаю» во время гастролей в Прибалтике. Прямо перед большим окном в кадке росло лимонное дерево, некогда росшее возле чеховского дома в Ялте и привезенное оттуда в подарок почитателями моего таланта.

Справа на стене висели портреты людей и собак. Те же Ахматова, Качалов, актриса Театра имени Моссовета Мария Бабанова, балерина Майя Плисецкая со своим пуделем, я с Мариной Нееловой, дворняга с ежом, Владимир Маяковский...

Я Глеба усыновила, а он меня уматерил!

Около пяти лет, от случая к случаю фиксируя свои впечатления от общения со мной, Глеб Скороходов готовил книгу «Разговоры с Раневской».

А начиналось все это так:

– Фаина Георгиевна, почему бы вам не написать о своем творчестве, о встречах, о театрах? Было бы безумно интересно! – обратился он ко мне однажды.

– Вы так думаете, Глеб? А я думаю иначе. Писать мемуары – это все равно, что показывать свои вставные зубы! Я скорее дам себя распясть, чем напишу книгу «Сама о себе». Я не раз начинала вести дневник, но всегда сжигала написанное. Как можно выставлять себя напоказ? Знаете говорить о себе хорошо – это нескромно, а плохо – как-то не хочется. А вот вы журналист, взяли бы и записали. Я вам столько рассказываю, а вы забываете, – ответила я ему.

Вот он и стал фиксировать мои воспоминания, отзывы, мнения. Я же к нему относилась несколько настороженно.

– О, вы опасный человек. Вам не все можно рассказывать...

Я всегда обладала прекрасной памятью. Но у этой памяти есть свойство, которое остро необходимо комедийной актрисе. Охотнее всего мне вспоминались нелепости жизни, противоречия между возвышенным и низким, настоящим и искусственным. Беседуя с Глебом, я всегда поясняла, что он мог записать, а что и вовсе нельзя было использовать. Так и говорила ему:

– Не подумайте записывать.

Он уверял меня, что так и сделает.

– Ах, оставьте. Все, что запечатлено на бумаге, делается свидетельством, документом. А то, что написали вы, – это почти готовая книга, – говорила я ему.

Закончилась же наша работа таким диалогом:

– Прежде чем отдать книгу в издательство, надо показать ее друзьям, которые не льстили бы ни мне, ни вам.

– Может, прежде посмотреть, справедливо ли вычеркнуты многие записи? Мне кажется, ушло много интересного, – ответил он.

– Вы опять за свое? Мне никто не давал права рассказывать о тех, кого уже нет.

С утра до поздней ночи мы просидели над рукописью. Несколько страниц, я «отмела».

– Кстати, фотографии для книги буду отбирать только я – ни одной носатой не допущу, не надейтесь! Всю жизнь я мучилась из-за своего гигантского носа. Можно ли вообразить Офелию с таким носом?!

Вскоре Глеб сообщил мне, что первым читателем стал Феликс Кузнецов. Ему рукопись очень понравилась. Он позвонил ему и сказал, что не мог оторваться, настолько ему было интересно!

– Итак, – сказала я – первый ход сделан. С вашей стороны в игру вступил Кузнецов, с моей... Кто?.. Танька Тэсс в качестве рецензента отпадает: позавидует, что не она записала мои рассказы и не сообразила сделать еще одну свою книгу. Витя Ардов? Он придет в эйфорию, не прочтя ни одной страницы: у него вызывает восторг все, что касается друзей... Я перебрала многих и решила: Ирочка Вульф! Она знает меня с детства, она режиссер, умеет видеть вещи со стороны и передо мной не заискивает. Лучшего читателя не найти! Реакция на книгу Ирины Сергеевны лишила Глеба дара речи.

– У вас получился портрет, которого никто не должен видеть. Вариант уайльдовского Дориана Грея. Иначе из театра Раневской придется немедленно уйти! Ни о ком ни одного доброго слова! Так не уважать своих партнеров?!

– Вы не правы. Она о многих говорила с восторгом! Об Ахматовой, об Осипе Абдулове, – защищал он меня.

– Вы взрослый человек. Поражаюсь, как вы можете верить каждому слову Фаины! Да знаете ли вы, что она называла Ахматову каменной скифской бабой, которую не тревожит ничто из происходящего с другими? А что слышали близкие из уст Раневской об Абдулове? Халтурщик, хапуга... И как могли вы всерьез воспринять слова о том, что она кормила нашу семью?! Мы все работали: мама на главных ролях, я, Завадский – мы с мужем были артистами МХАТа, не самого бедного театра. Как же может троих работающих содержать актриса, не имеющая постоянного заработка? Она за 38 лет сыграла 16 ролей. И почему-то вы не поинтересовались, когда она получила свою первую комнату в коммуналке и съехала от нас... Как после этого верить, что я для нее словно родная дочь, а мой Алеша – внук?! Вы хотя бы высказываете свое отношение к тому, что услышали от нее?

– В какой-то степени да, – ответил он.

– Ну, так это вас и погубит...

На следующий день я позвонила ему и сказала, что эта книга не будет издана никогда.

– Мммм... Тогда можно я заберу рукопись? – уточнил Глеб.

– Нет, конечно!

И вот он пришел ко мне домой. Стал прямо на лестничную площадку и нажал на кнопку звонка.

– Кто там? – спросила я.

– Отдайте мне папку, и я не скажу больше ни слова, – ответил мне Глеб.

– Не отдам! – решительно ответила я.

Он, наверное, растерялся. Позвонил еще, но я больше не отвечала. Он увидел соседа и кратко пояснил ему, что и как, и почему он стоит у порога моей квартиры.

– Не верьте ему! – сказала я, выглянув из-за двери.

Потом я вызвала милицию, попросив избавить народную артистку от навязчивого хулигана.

– Ваши документы? Что вы здесь делаете? – звучал голос милиционера.

– Жду, когда мне отдадут мои бумаги, – отвечал Глеб.

– А в дверь зачем ломитесь? Народная артистка просила избавить ее от хулигана. Проедемте в отделение...

Я видела, как он залезал в коляску мотоцикла, я, вытянувшись от любопытства, разглядывала происходящее через очки, которые не успела надеть и держала в руке подобно лорнету. Наши взгляды пересеклись – я с ужасом отшатнулась и поспешно отошла от окна.

Я столько уродов сыграла! Я хочу хорошего человека играть!

«Властная старуха Мавра Тарасовна, мать московского купца Амоса Панфиловича Барабошева, подыскивает для своей единственной внучки Поликсены жениха-генерала. У самой же Поликсены другие планы – добрая девушка любит приказчика Платона Зыбкина, красивого, честного и, как и полагается при таких достоинствах, бедного парня, задолжавшего своему хозяину Амосу Панфиловичу двести рублей. Платон отвечает ей взаимностью. Несчастному Платону грозит долговая тюрьма. Стараниями Филицаты, няньки Поликсены, решившей помочь счастьем влюбленных, в доме появляется новый сторож – отставной унтер-офицер Сила Ерофеевич Грознов, бывший когда-то любовником Мавры Тарасовны. Напуганная тем, что ее старые грехи станут общим достоянием, старуха по требованию Грознова уничтожает вексель Платона и позволяет Поликсене выйти за него замуж».

Таков сюжет пьесы Александра Николаевича Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше». Пьесы, в которой мне посчастливилось сыграть.

Долгое время в Театре имени Моссовета я была занята лишь в одном спектакле – «Дальше – тишина». Очень долго – почти двенадцать лет. Конечно же, мне этого было мало. Мысль о старости, о стольких годах, прожитых не так, как я хотела, не покидала меня. Между тем оставалось столько несыгранных ролей, невоплощенных образов! Надо было остановиться на чем-то вечном, значимом, классическом...

Безжалостное и бесстрастное, время шло, и его нельзя было остановить. К тому же я никогда не выносила безделья. Когда я долго не играю, долго не готовлю новой роли, я себя чувствую как пианист, у которого ампутированы руки.

А на дворе стоял 1980 год. Год расцвета, год Московской олимпиады, год смерти Владимира Высоцкого. Мой возраст перевалил уже за восемьдесят. Надеяться на авось – опрометчиво, верить в то, что кто-то подберет для меня подходящую роль, – глупо.

Человек сам должен быть творцом собственного счастья. Всю жизнь исповедуя этот принцип, я оставалась верна ему и в старости. Невольно мои мысли все чаще возвращались к Островскому. Творчество великого русского драматурга я знала хорошо и как читательница, и как актриса.

В его пьесах я была занята еще в начале двадцатых годов в Крыму, а затем – в Баку. В общей сложности я сыграла в пяти пьесах Островского, включая «Бесприданницу», и более к Островскому на сцене не возвращалась. Вероятнее всего, это происходило не по моей воле – просто не было подходящих ролей в тех театрах, где я служила или режиссеры, ставящие Островского, обходили меня стороной.

Пьесу Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» мне посоветовал один из знакомых, явно видевший меня в роли купчихи Барабошевой. Однако я сама остановилась на Филицате. Почему же я сделала такой выбор? Почему отказалась от главной роли в пользу эпизода? Что привлекло меня в Филицате? В первую очередь – добрый характер старой няньки и то добро, которое она несет людям.

Филицата – не «наемный сотрудник», как нынче принято говорить. Она – настоящий член семьи. За Поликсену Филицата переживает так, словно та ее родная внучка. И счастье своих любимцев Платоши и Поликсены она устраивает совершенно бескорыстно.

Я предложила поставить пьесу актеру и режиссеру Сергею Юрскому. Тот перечитал пьесу и согласился. Надо сказать, что трения у нас начались сразу. Не успел Сергей Юрьевич дать согласие на постановку, как я заявила ему, что если пьеса его не тронула, то и ставить ее не надо.

– Вы вообще не режиссер, а актер. Вот и играйте себе, а ставить вам не надо! – сказала я ему.

Юрский знал, что после роли Люси Купер в спектакле «Дальше – тишина» у меня не было других ролей в театре. Знал он и то, что никто из руководства не озаботится поиском ролей для меня. Он видел меня в роли старухи Барабошевой, но я объявила, что согласна играть только добрую няньку Филицату, и осталась непреклонна:

– Я столько уродов сыграла. Я хочу хорошего человека играть!

Юрский пытался убеждать – и снова слышал уже сказанное ему:

– Мы, наверное, с вами не сработаемся!

К тому же я сослалась на то, что на всех репетициях я присутствовать не смогу, так как мне не с кем оставить собаку, своего любимого пса Мальчика.

Но Юрский, человек импульсивный и увлекающийся, уже загорелся идеей поставить спектакль по пьесе «Правда – хорошо, а счастье лучше», и поставить его именно со мной, с Фаиной Раневской, пусть даже и в роли Филицаты. Сергей Юрьевич

нашел, что я превосходно справлюсь с этой довольно автономной в сущности ролью, и не присутствуя на всех репетициях. Правда, он настоял на моем присутствии на первой репетиции.

Накануне первой репетиции я позвонила Сергею Юрьевичу и сказала, что на репетицию явиться не смогу. Юрский был готов к этому – его, конечно же, не раз предупреждали об особенностях моего характера.

Но я пришла. И на первую репетицию, и на все остальные. Приезжала я обычно рано и тут же принималась выплескивать свое раздражение. На всех и вся.

– Тускло горят лампочки...

– Мне никто не ответил на мое приветствие! Подумать только!

– Ступеньки не видны под ковровой дорожкой!

– Зачем в спектакль введены песни, которых не было у Островского?

– Как можно играть без суфлера?

Все это были мои слова! Примеры с костюмершами трепетали. Кого-то я могла довести до слез. И, каюсь, не всегда заслуженно. Сказывался возраст, обнажавший всю остроту и неуживчивость характера, сказывались обиды на судьбу, одиночество.

Юрский, исполняя долг режиссера, улаживал конфликты. Как мог, успокаивал меня и пытался уберечь окружающих от моих нападок, зачастую несправедливых. Ему и самому иногда бывало страшно. А я привычно сообщала, что отказываюсь играть. Сегодня и вообще.

Сергей Юрьевич своими шутками и комплиментами приводил меня в более-менее сносное расположение духа. Порой ему в этом трудном деле помогал директор театра Лев Лосев.

Юрский прикрепил ко мне свою помощницу Марию Дмитриевну, которая благотворно, то есть успокаивающе действовала на меня. Она была моей помощницей, наперсницей, ангелом-хранителем. По старой традиции русского театра я не могла выйти на сцену сама, без того, чтобы кто-нибудь меня не «выпустил». Мария Дмитриевна перед каждым выходом (которых у Филицаты целых десять), помогала мне подняться на ноги и командовала:

– Пошла!

Именно так, согласно традициям.

Во время каждого выхода моей героини на сцену свершалось чудо. Я, старая немощная народная артистка, преображалась в бойкую хлопотунью Филицату. Зрители встречали меня аплодисментами, а я потом сердилась:

– Зачем? Зачем они хлопают? Они любят меня? За что? Сколько лет мне кричали на улице мальчишки: «Муля, не нервируй меня!». Хорошо одетые надушенные дамы протягивали ручку лодочкой и аккуратно сложенными губками, вместо того чтобы представиться, шептали: «Мулл, не нервируй меня!». Государственные деятели шли навстречу и, проявляя любовь и уважение к искусству, говорили доброжелательно: «Муля, не нервируй меня!». Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать. Мне трудно видеть людей. Потому что все, кого я любила, кого боготворила, умерли. Столько людей аплодируют мне, а мне так одиноко. И еще... я боюсь забыть текст. Пока длится овация, я повторяю без конца вслух первую фразу «И всегда так бывает, когда девушек запирают» на разные лады. Боже, как долго они аплодируют. Спасибо вам, дорогие мои. Но у меня уже кончаются силы, а роль все еще не началась... «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нет, не так, я не умею говорить одинаково. Я помню, как выходили под овацию великие актеры. Одни раскланивались, а потом начинали роль. Это было величественно. Но я не любила таких актеров. А когда овацию устроили Станиславскому, он стоял растерянный и все пытался начать сквозь аплодисменты. Ему мешал успех. Я готова была молиться на него. «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нянька добрая... Она любит свою воспитанницу, свою девочку. А на бабушку нянька злится – зачем запирает внучку... Поликсену... дорогую мою... «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нянька раздражена. Или это я раздраженная? «Муля, не нервируй меня!». Я сама выдумала эту фразу и она стала моим проклятием. Я выдумала большинство фраз, которые потом повторяли, которыми дразнили меня. В сущности, я сыграла очень мало настоящих ролей. Какие-то кусочки, которые потом сама досочиняла. В Островском нельзя менять ни одного слова, ни одного! Я потому и забываю текст, что стараюсь сказать абсолютно точно, до запятой. А суфлера нет. А все кругом говорят бойко, но приблизительно. Не ценят слова. Не ценят слово. Не ценят Островского. И всегда так бывает, когда меня нервируют... Муля! Не запирай меня! Всегда так бывает...

И каждый вечер овации повторялись. Для того чтобы выйти на сцену в тишине, мне, наверное, пришлось бы сделать это при совершенно пустом зале, зале без единого зрителя.

Первая сцена была очень трудной. Островский вводил зрителя в курс дела неспешно и обстоятельно, что в наше время смотрелось скучновато. Я всегда мучилась с этой первой сценой. После оваций, после столь горячего, щедрого на эмоции приема мне сразу же хотелось сделать в ответ нечто необычайное,

значительное.

Я не была бы Фаиной Раневской, если бы и здесь не нашла верного решения. Я разбивала первую сцену на множество крошечных кусочков и играла их «на контрастах».

Покидая сцену после десятиминутной игры, я пела: «Корсетка моя...», пела песню, которую с моей подачи, ввел в спектакль Сергей Юрский, правда, по его замыслу песня должна была звучать только в финале. Сергей Юрьевич был против пения в первой сцене, ему хотелось неожиданно огорошить зрителя этой песней в финале, но переубедить меня ему так и не удалось.

В паузах я не поднималась к себе в гримерную. Я предпочитала просиживать весь спектакль на сцене, за кулисами. Повторяла роль, не надеясь на слабеющую память, жаловалась Марии Дмитриевне на жизнь, да порой так громко, что мой голос, наверное, был слышен на сцене. Юрский бросался наводить порядок, я пугалась, закрывала рот руками, но через какое-то время все повторялось снова. В прежние времена я себе такого не позволяла.

Несмотря на все сложности совместной работы, нам удалось сохранить с Сергеем Юрьевичем теплые и дружественные отношения. Тонкий знаток человеческой души и превосходный психолог, он очень мило отозвался о моей личности:

– Сложен человек. Всякий сложен. Много намешано в человеке. Потому и интересен. Сплетаются биографические нити с генетическими. Сплетаются дурные и добрые побуждения. Спутываются ясные намерения ума с простыми требованиями жизни. Сердечный импульс дает толчок в одну сторону, а физиологический императив – в другую. Нити общественного долга и личного интереса стремятся к слиянию в красивый узор, а он порой оборачивается уродливым узлом. Но если внутри у большинства из нас замысловатый клубок нитей, то Раневская была соткана из морских канатов. Великолепна и красива ее сложность. И от крупности все противоречия ее личности воспринимались как гармоническая цельность. Редки такие люди.

Когда Раневской не стало...

В середине 60-х Раневская возвратилась в театр к Завадскому. В театре Моссовета она работала до конца своих дней.

Удивительно, но за долгие годы она так и не сыграла ни одной великой роли мирового репертуара. Все экранные и сценические работы Раневской можно перечесать по пальцам.

– Я в своей жизни не сделала 99 процентов из ста! – говорила она.

Но ее роли и сегодня покоряют новые поколения зрителей. Дети, а рядом с ними и взрослые, смотрят ее Мачеху в «Золушке» и Лялю в «Подкидыше». Дети – знакомятся, взрослые – вспоминают. Но и те и другие оказываются в плену у таланта. А позже они восхищаются Мамашей в чеховской «Свадьбе», грустят и плачут, глядя на Розу Скороход в «Мечте» или Люси Купер в спектакле «Дальше – тишина».

Все, что сыграла Раневская в кино, перечислять нет смысла – оно осталось не в учебниках по истории советской кинематографии, оно живо. И каждый может из него выбрать по сердцу – всем хватит.

Это поистине актриса на все времена!

Она действительно была человеком необычным. Необычность ее начиналась с имени-отчества. В ее паспорте значилось: «Фаина Григорьевна Раневская», но в жизни ее чаще всего называли Фаиной Георгиевной Раневской. И устно, и письменно.

– Почему? – однажды поинтересовались у нее.

– Вот уж никогда не задумывалась над этим! Называют и называют – какая разница как?! – ответила Раневская, а потом добавила: – Может, мне хотят польстить? Ведь Гришка – Отрепьев, а Георгий – Победоносец!

Но даже то небольшое, по ее собственному мнению, сделало ее величайшей отечественной актрисой. Лондонский ежегодник «Кто есть, кто» включил ее в число десяти лучших актрис XX века. И это не случайно. Кто-то из крупных режиссеров сказал о Фаине Георгиевне: «Она может все! Актриса в совершенстве владела всеми жанрами – от трагедии до фарса. Раневская не играла – она жила своими ролями, как живут своими играми дети, до конца, по полной правды, до счастья. И если она видела равнодушие, работу в полсилы, то была беспощадна, как бывают беспощадны дети».

От непростого характера Раневской страдали окружающие. Так постоянными придирками она довела до слез Юю Саввину. Но потом звонила с извинениями, которые потрясали

величественной откровенностью:

– Я так одинока, все друзья мои умерли, вся моя жизнь – работа... Я вдруг позавидовала вам. Позавидовала той легкости, с какой вы работаете, и на мгновение возненавидела вас. А я работаю трудно, меня преследует страх перед сценой, будущей публикой, даже перед партнерами. Я не капризничаю, девочка, я боюсь. Это не от гордыни. Не провала, не неуспеха, я боюсь, а – как вам объяснить? – это ведь моя жизнь, и как страшно неправильно распорядиться ею...

За год до своей смерти Раневская отказалась играть на сцене.

– Старость, – сказала она, – вещь страшная. Болят все мои косточки. Очень устала, очень. Восемьдесят семь лет! Я не Яблочкина, чтобы играть до 100 лет. Нет, больше на сцену не выйду!

Она прожила 88 лет, хлебнув горечи болезней и одинокой, бессемейной старости. У нее была домработница, ее навещали друзья, но самым близким существом оказался пес Мальчик, ради которого она отказывалась ложиться в больницу или ехать в санаторий.

– Старость – это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирман – и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

Не пренебрегая острым словом, Фаина Георгиевна была также критична и по отношению к самой себе:

– Старая харя не стала моей трагедией – в 22 года я уже гримировалась старухой и привыкла, и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны!». Книппер-Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: «Я начала душиться только в старости». Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки... Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!

Когда Раневская получила новую квартиру, друзья перевезли ее имущество, помогли расставить и разложить все по местам и собрались уходить. Вдруг она заголосила:

– Боже мой, где мои похоронные принадлежности?! Куда вы положили мои похоронные принадлежности? Не уходите же, я потом сама ни за что не найду, я же старая, они могут понадобиться в любую минуту!

Все стали искать эти «похоронные принадлежности», не совсем понимая, что, собственно, следует искать. И вдруг Раневская радостно возгласила:

– Слава Богу, нашла!

И торжественно продемонстрировала всем коробочку со своими наградами.

У нее была стена, сплошь увешанная фотографиями, приколотыми иглами для внутривенных вливаний – Уланова, Шостакович, Пастернак, Ахматова, Цветаева... Ее как-то спросили:

– Как же так – столько замечательных людей прошли через вашу жизнь, почему вы ничего не напишете?

– Я, деточка, написала. Но потом перечитала Толстого, поняла, что он написал лучше, и свои заметки порвала! – ответила Фаина Георгиевна.

Рефлексия и самоирония не позволяли Раневской даже принимать комплименты:

– Как вам идет этот халат! – кто-то похвалил как-то ее наряд.

– Деточка, что же мне сейчас может идти, кроме гробовой доски?!

Но собеседник продолжал настаивать на своем. Тогда Раневская сказала:

– Я поняла, что такое халатное отношение. Это когда встречаешь гостя в халате.

Комическое и трагическое переплеталось в ней и на сцене, и в жизни.

В октябре 1983 года Раневская навсегда оставила сцену – буднично, без проводов и речей, просто уведомив о своем решении директора театра им. Моссовета.

...На ее могиле до сих пор нет памятника. Фаина Георгиевна завещала похоронить себя в могиле сестры и ни в коем случае не разрушать то скромное надгробие, которое на ней поставила. Какой-то неведомый поклонник актрисы, зная о ее любви к животным, приварил к плите металлическую фигурку собаки...

Так случилось, что многие годы она провела почти безвыходно в четырех стенах. Но сохранила острое любопытство к жизни во всех проявлениях: к политике, к психологии современного человека, к смешному, к людским слабостям, к новым книгам, к новым талантам. Едкая насмешливость при постоянно возвышенном складе ума и сердца. Не терпела «тонкость» в общении, но при этом органически не переносила малейшую фамильярность. Тяга к общению и потребность одиночества. Взрывы гнева и сентиментальность. Самоутверждение, обидчивость, подозрительность, и при этом – широта души, искренняя беспощадная самокритика,

непостижимое умаление, даже уничтожение своих достоинств, талантов, например, писательского дара. Безмерная печаль и могучий внутренний оптимизм. Жалостливая любовь ко всем людям и громогласный искренний патриотизм, безоговорочное предпочтение своих: «во всем наше лучше – русский язык, русский образ мыслей, русский стиль жизни, русские традиции». Канаты, канаты сплелись в ней! Огромный масштаб. Карта в размер самой местности. Глубина памяти в размер века.

В 1984 году великой актрисы не стало. Похоронили ее рядом с сестрой на кладбище Донского монастыря.

Афоризмы и цитаты

Талант – как бородавка – либо он есть, либо его нет.

Страшно грустна моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в жопу куст сирени и делала перед вами стриптиз.

Известно, что Раневская позволяла себе крепкие выражения, и когда ей сделали замечание, сказав, что в литературном русском языке нет слова «жопа», она сказала: «Странно, слова нет, а жопа есть...».

Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа.

Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.

Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения».

У меня хватило ума прожить жизнь глупо.

Если тебе человек сделал зло – ты дай ему конфетку. Он тебе опять зло – ты ему опять конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари разовьется диабет.

Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна для того, чтобы нравится глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным.

Сотрудница Радиокomiteта постоянно переживала драмы из-за своих отношений с сослуживцем, которого звали Симой: то она рыдала из-за очередной ссоры, то он ее бросал, то она делала от него аборт. Раневская называла ее: «жертва ХераСимы».

Бог создал женщин красивыми для того, чтобы их любили мужчины, и – глупыми, для того, чтобы они могли любить мужчин.

Многие жалуются на свою внешность, но никто – на интеллект и мозги.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

Чтобы оставаться худой, женщине надо есть перед зеркалом и обнаженной.

Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной, а быль – это когда наоборот.

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Всю жизнь я страшно боюсь глупых – особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень.

Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит она понимает, что второго такого дурака она не найдет.

Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего.

Люди – как свечи; одни – для света и тепла, а других в жопу!

Однажды Раневскую спросили, почему красивые женщины пользуются большим успехом, чем умные. Она ответила: «Это же очевидно! Ведь слепых мужчин совсем мало, а глупых – хоть пруд пруди!».

Как-то Раневская, сняв телефонную трубку, услышала сильно надоевший ей голос кого-то из поклонников и заявила:

– Извините, не могу продолжать разговор. Я говорю из автомата, а здесь большая очередь.

– Фаина Георгиевна, на что похожа женщина, если ее поставить вверх ногами?

– На копилку.

– А мужчина?

– На вешалку.

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

– Дорогая, я сегодня спала с незапертой дверью.

– А если бы кто-то вошел?! – всполошилась приятельница Раневской, дама пенсионного возраста.

– Ну сколько можно обольщаться, – пресекла Фаина Георгиевна.

Главное – живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить.

Посмотрите, Фаина Георгиевна! В вашем пиве плавает муха!

– Всего одна, милочка. Ну сколько она может выпить?!

Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая.

Я – выкидыш Станиславского!

Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

Орфографические ошибки в письме – как клоп на белой блузке.

Перпетум кобеле.

Фаина Раневская была на свадьбе друзей. Когда на плечо жениху нагадил голубь, сказала:

– Вот молодожены, голубь символ того, что свобода ваша улетела и на прощание нагадила.

Успех – единственный непростительный грех по отношению к своему близкому.

Сказка – это когда выходишь замуж за чудовище, а он оказывается принцем, а быль – это когда наоборот.

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.

Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать

вдвоем!

Каждый волен распоряжаться своей жопой, как ему хочется. Поэтому я свою поднимаю и валю.

Однажды Завадский закричал Раневской из зала: «Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел!». «То-то у меня чувство, как будто наелась говна», – достаточно громко пробурчала Фаина. «Вон из театра!» – крикнул мэтр. Раневская, подойдя к авансцене, ответила ему: «Вон из искусства!!».

Раневская со всеми своими домашними и огромным багажом приезжает на вокзал.

– Жалко, что мы не захватили пианино, – говорит Фаина Георгиевна.

– Неостроумно, – замечает кто-то из сопровождавших.

– Действительно неостроумно, – вздыхает Раневская. – Дело в том, что на пианино я оставила все билеты.

– Сколько раз краснеет в жизни женщина?

– Четыре раза: в первую брачную ночь, когда первый раз изменяет мужу, когда первый раз берет деньги, когда первый раз дает деньги.

– А мужчина?

– Два раза: первый раз – когда не может второй, второй – когда не может первый.

У Раневской спросили: что для нее самое трудное?

– О, самое трудное я делаю до завтрака, – сообщила она.

– И что же это?

– Встаю с постели.

Очень тяжело быть гением среди козявок.

Ну и лица мне попадают, не лица, а личное оскорбление! В театр вхожу – как в мусоропровод: фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи!

Это не театр, а дачный сортир. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости – рвать зубы. Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются – зачем я каждый раз играю по-новому...

Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга – «Судьба – шлюха».

Деньги съедены, а позор остался.

Вы знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью – повидло.

Когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.

- Сегодня я убила 5 мух: двух самцов и трех самок.
- Как вы это определили, Фаина Георгиевна?
- Две сидели на пивной бутылке, а три – на зеркале, – объяснила она.

Оправившись от инфаркта, Раневская заключила:

- Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.

Раневская приглашает в гости и предупреждает, что звонок не работает:

- Как придете – стучите ногами.
- Почему ногами, Фаина Георгиевна?
- Но вы же не с пустыми руками собираетесь приходиться?!

Животных, которых мало, занесли в «Красную книгу», а которых много, – в «Книгу о вкусной и здоровой пище».

Что за мир? Сколько идиотов вокруг, как весело от них!

Фото



Фаина Раневская (1929 г.)



Актриса театра и кино Фаина Георгиевна Раневская



С актрисой Ариадной Шенгелая в фильме «Осторожно, бабушка!» (1960 г.)



Фаина Раневская в спектакле «Эта странная миссис Сэвидж»
(1966 г.)



Сцена из спектакля «Эта странная миссис Сэвидж» (1966 г.)



*Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР
Фаина Раневская*



С актером Ростиславом Пляттом (1969 г.)



Фаина Раневская на приеме в московском Доме актера



Фаина Раневская и Сергей Юрский в спектакле «Правда – хорошо, а счастье – лучше» по пьесе Александра Островского (1980 г.)